

Джон Стюарт Милль
(1806–1873)

Речь об университетском воспитании,
произнесенная
в Университете С.-Андрю
(в Шотландии)
Джоном Стюартом Миллем,
ректором университета

Пер. с англ. М. А. Антоновича

Юманс Э. Новейшее образование: его истинные цели и требования. *Милль Дж. С.* Речь об университетском воспитании / Пер. с англ. М. А. Антоновича. СПб.: Русская книжная торговля, 1867. С. 5–71.

*Inaugural address, delivered to the University of St. Andrews,
Feb. 1st 1867, by John Stuart Mill, Rector of the University.
London, MDCCCLXVII.*

Исполняя обычай, по которому лицо, приглашаемое вашими выборами принять почетное президентство в вашем университете, должно изложить в речи несколько мыслей о предметах, всего ближе относящихся к месту высшего общего воспитания, я прежде всего скажу, что этот обычай кажется мне заслуживающим большого одобрения. Воспитание, в обширном смысле, есть один из самых неистощимых сюжетов. Хотя едва ли есть предмет, о котором было бы писано так много и столькими умнейшими людьми, он остается свеж для тех, кто приступает к нему с свежим умом, еще не наполненным безвозвратно мнениями других людей, — как приступали к нему первые исследователи этого предмета; и несмотря на то, что об этом предмете было уже сказано множество превосходных вещей, ни один мыслящий человек не найдет недостатка в вещах, и крупных, и мелких, которые еще ожидают быть сказанными, или ожидают быть развитыми и прослеженными до их последствий. Кроме того, воспитание есть один из тех предметов, для которых самым существенным образом необходимо, чтобы их рассматривали разнообразные умы и с разнообразных точек зрения. Потому что из всех предметов, представляющих много сторон, этот имеет всего больше сторон. Он не только включает в себе все, что мы делаем для себя сами и что делают для нас другие, с прямой целью поставить нас несколько ближе к совершенству нашей природы, — его значение еще шире: в самом широком смысле | своем, воспитание об- :5

нимает даже непрямые действия, производимые на характер и на человеческие способности вещами, собственное назначение которых бывает совершенно иное; законами, образом правления, промышленными искусствами, формами общественной жизни; и даже физическими фактами, независящими от человеческой воли, — климатом, почвой и местным положением. Все, что действует известному характеру человеческого существа, что делает индивидуума тем, что он есть, или мешает быть тем, что он не есть, — все это составляет часть его воспитания. И это бывает часто очень дурное воспитание, и для противодействия его тенденциям нужно, чтобы сделано было все, что может быть сделано образованным умом и волей. Возьмем для объяснения один очевидный пример: крайняя скупость природы в одних местах, поглощая всю энергию человеческого существа на одно сохранение жизни, и ее чрезвычайная щедрость в других местах, доставляя человеку известный род грубого существования на очень легких условиях и едва ли доставляя какое-нибудь упражнение его способностям, — бывают одинаково враждебны свободному росту и развитию духа; и именно на этих двух крайностях лестницы мы находим человеческие общества в состоянии самой необузданной дикости. Впрочем, я буду говорить только о воспитании в более тесном смысле, о том образовании, которое каждое поколение обдуманно доставляет своим будущим преемникам, с тем, чтобы дать им возможность по крайней мере удержать, и если возможно, то поднять уровень развития и улучшения, достигнутый прежде. Почти все, здесь присутствующие, каждый день заняты тем, что дают или получают этот род воспитания; и в настоящую минуту к вам всего больше имеет отношение та часть воспитания, в которой заинтересованы вы сами — та ступень воспитания, которая составляет особенную задачу национального Университета.

Собственная роль Университета в национальном воспитании понимается вообще довольно сносно. По крайней мере в обществе существует довольно сносное согласие относительно того, что не есть университет. Он не есть место профессионального воспитания. Университеты предназначаются не для того, чтобы :6 научать знанию, нужному людям для какого-нибудь специального способа приобретать средства к существованию. Цель их состоит не в том, чтобы приготовить искусных юристов, медиков или инженеров, а чтобы приготовить способные и образованные человеческие существа. Справедливо, конечно, что должны существовать публичные учреждения для изучения профессий. Должны конечно существовать школы для права или медицины, и хорошо бы было, если бы были школы для инженерства и для промышленных искусств. Страны, в которых есть такие учреждения, владеют большим преимуществом перед другими; и можно

было бы желать, чтобы подобные учреждения находились в тех же местностях и под тем же общим управлением, как и учреждения, посвященные собственно так называемому воспитанию. Но эти вещи все-таки ничего не значат в том, что каждое поколение должно сделать для следующего поколения, от чего бы главным образом зависела его цивилизация и настоящая сила. Они нужны сравнительно только немногим, которых сильные частные причины побуждают приобретать их собственными усилиями; и даже этим немногим такие вещи нужны только тогда, когда их воспитание в обыкновенном смысле dokonчено. И будут ли люди, выбравшие эти вещи своей специальностью, изучать их как ветвь образования или просто как ремесло, и будут ли, изучивши их, делать из них благоразумное и добросовестное употребление или наоборот, это зависит не столько от того способа, каким они обучаются своей профессии, сколько от того, с каким характером ума они к ней приступают — какой род образования и сознания развила в них общая система воспитания. Люди бывают люди, прежде чем они бывают юристы или медики, купцы и мануфактуристы; и если вы делаете их способными и рассудительными людьми, они сделаются способными и рассудительными юристами или медиками. Люди, посвящающие себя известной профессии, должны выносить из университета не профессиональное знание, но то знание, которое бы управляло употреблением их профессионального знания, и которое бы светом общего образования освещало технические частности специального предмета занятий. Люди могут быть компетентными юристами без общего образования, но только общее образование может сделать их юристами-философами, — которые хотят и которые способны уразумевать принципы, вместо того, чтобы только загромождать свою память подробностями. И точно также бывает во всех других полезных занятиях, включая и механические. Воспитание делает человека более умным сапожником, если он занимается сапожным ремеслом, но оно делает это не тем, что учит его шить сапоги; оно делает это тем умственным упражнением, которое оно дает, и привычками, какие оно сообщает.

Итак, вот то, что математик назвал бы на своем языке высшим пределом университетского воспитания: область его кончается там, где воспитание, переставая быть общим, разветвляется на отделы, соответствующие жизненному назначению индивидуума. Гораздо труднее определить низший предел. Университет не имеет дела с элементарным обучением: здесь предполагается, что воспитанник уже получил его прежде. Но где кончается элементарное обучение и где начинаются высшие изучения? Некоторые дают понятию элементарного обучения весьма обширные размеры. По их мнению, университет не обязан преподавать отдельных ветвей знания с самого начала. Воспитанни-

ка надо учить здесь (говорят они) методизировать свое знание: рассматривать каждую отдельную часть его в связи ее с другими частями и с целым, — соединяя частные указания, которые он нашел относительно разных пунктов поля человеческого знания, так сказать в общую карту целой страны; наблюдая, как связано все это знание, как при помощи одной ветви мы восходим к другой, как высшая видоизменяет низшую и низшая помогает нам понять высшую; как всякая существующая вещь есть собрание многих свойств, в которых каждая наука или отдельный род изучения открывает только небольшую долю, но которые должны быть изучены в целом, для того, чтобы мы в состоянии были :8 рассматривать эту вещь как действительный факт природы, а не как одну отвлеченность.

Эта последняя ступень общего воспитания, долженствующая дать воспитаннику общее и связанное понятие о вещах, отдельно уже изученных им, включает в себе философское изучение методов наук, — тех способов, которыми человеческий ум идет от известного к неизвестному. Мы должны учиться обобщать свое представление о тех средствах, какими владеет человеческий ум для исследования природы, — понимать, каким образом человек открывает реальные факты мира и какой поверкой он может удостоверить в том, действительно ли он нашел их. И это без сомнения есть венец и довершение общего высшего воспитания; но прежде чем мы ограничим университет этим высшим отделом обучения — прежде чем ограничим его труд преподаванием, не знания собственно, а философии знания, — мы должны увериться, что самое знание было уже приобретено в другом месте. Люди, принимающие этот взгляд на обязанность Университета, не без основания полагают, что школы, как заведения, отличные от Университетов, должны бы были быть в состоянии преподавать все ветви общего воспитания, нужные для юношества, насколько каждая может быть изучаема отдельно от остальных. Но где же такие школы? С тех пор, как наука приняла свой новейший характер, этих школ нет; и на этих островах¹ их меньше, чем где бы то ни было. Это старое королевство², благодаря своим великим религиозным реформаторам, имело неопцененную выгоду, — которой не было у его южной сестры, — в прекрасных приходских школах, которые, действительно, а не в одном воображении, дали массе населения значительное количество ценного литературного образования двумя столетиями раньше, чем во всякой другой стране. Но школ высшего разряда даже в Шотландии :9 было так мало и устройство их было так недоста|точно, что университетам в большой мере приходилось исполнять дело, которое должно бы исполняться школами; они должны были прини-

¹ В Великобритании.

² Шотландия.

мать слишком молодых студентов, и не только брать на себя дело, для которого студентов должны бы были готовить школы, но в значительной степени брать на себя и самое приготовление. Каждый шотландский университет есть не только университет, но и высшая школа, которая пополняет недостаточность других школ. И если английские университеты не делают того же самого, то причина этого не в том, чтобы этой надобности не существовало, а в том, что она оставляется в пренебрежении. Молодые люди вступают в шотландские университеты невежественными, и здесь научаются. Большинство тех, которые вступают в английские университеты, вступают еще более невежественными, и невежественными выходят из них.

Поэтому на деле круг деятельности шотландского Университета включает в себе весь объем высшего рационального воспитания, от его оснований вверх. И план шотландских университетов почти с самого начала действительно стремился включить в себе весь этот объем, и в глубину и в ширину. Шотландские университеты не ограничивали, как долго ограничивали английские, всего своего преподавания, всех своих настоящих усилий, в пределы двух предметов, классических языков и математики. Вы не медлили до последних нескольких лет основать у себя конкурсы по естествознанию и нравственной науке. Преподавание в обоих этих отделах было организовано уже давно, и преподаватели этих предметов в шотландских университетах не были номинальными профессорами, не читающими лекций: в шотландских университетах преподавали некоторые из величайших имен в физических и нравственных науках, и своим преподаванием содействовали образованию некоторых из замечательнейших умов прошлого и настоящего столетий. Говорить о ходе воспитания в шотландских университетах значит обозреть все существенные отделы общего образования. Поэтому, самое лучшее, что я могу сделать в настоящем случае, это — представить несколько замечаний о каждом из этих отделов, рассматриваемых в связи с человеческим образованием вообще; обращая внимание на свойство притязаний, по которым каждый из этих отделов требует себе места в рациональном воспитании; обращая внимание на то, каким особенным образом каждый из них ведет к улучшению индивидуального ума и к благу племени, и как все они стремятся к одной общей цели — усилить, возвысить, очистить и украсить нашу обыкновенную природу и дать людям необходимые умственные орудия для дела, которое предстоит им совершить в жизни.

Прежде всего позвольте мне сказать несколько слов о великой современной контрверсии относительно высшего воспитания, о различии, которое самым резким образом делит реформаторов и консерваторов в деле воспитания: об избитом споре между древними языками и новейшими науками и искусствами, о

том, должно ли быть общее воспитание классическим — позволите мне употребить более широкое выражение, и сказать: литературным — или научным. Это — спор такой же бесконечный и часто столько же бесплодный, как тот старый, похожий на него, спор, памятный по именам Свифта и сэра Вильяма Темпля в Англии и Фонтенеля во Франции — спор о превосходстве между древними и новейшими. Вопрос о том, надо ли нам учиться классическим языкам или наукам, признаюсь, кажется мне очень похож на спор о том, нужно ли живописцу заниматься рисунком или колоритом, или, употребляя более домашнее сравнение, нужно ли портному шить сюртуки или панталоны. Я могу возразить только вопросом: почему же не то и другое? Может ли что-нибудь заслуживать имени хорошего воспитания, что не заключает в себе и литературы и науки? Если бы даже можно было сказать только то, что научное воспитание научает нас мыслить, а литературное — выражать наши мысли, разве нам не нужно и то и другое? И разве тот, кому недостает того или другого, не будет бедным, урезанным, искалеченным обрывком человека? Мы не обязаны спрашивать себя, что важнее знать, языки или науки. Как ни коротка жизнь, и как мы еще ни сокращаем ее сами, теряя время на вещи, не представляющие собой ни дела, ни мысли, ни удовольствия, — мы все еще не в таком дурном положении, чтоб нашим учащимся нужно было быть невежами относительно законов и свойств мира, в котором они живут, или чтобы нашим людям науки нужно было быть лишенными поэтического чувства и артистического образования. Я изумляюсь тому ограниченному представлению, какое многие из реформаторов в воспитании составили себе о способности усвоения у человеческого существа. Изучение науки необходимо, справедливо говорят они; наше нынешнее воспитание оставляет его в небрежении, и в этом также есть правда, хотя и не вся правда; и они считают невозможным найти место для изучения, которое они желают поощрять, иначе, как исключая, по крайней мере из общего воспитания, те предметы, которые теперь главным образом изучаются. Как это нелепо, говорят они, что все годы юности тратятся на приобретение несовершенного знания двух мертвых языков. Действительно, нелепо: но можно ли измерять способность человеческого ума научиться способностью Итона и Вестминстера³ — учить? Я желал бы лучше, чтобы эти реформаторы направили свои нападения на постыдную неудовлетворительность школ, общественных и частных, которые имеют притязание учить этим двум языкам и не научают им. Я желал бы лучше, чтобы эти реформаторы обличили жалкие методы преподавания и преступную леность и небрежность, которые губят все молодые годы воспитанников, давая

³ Известные ультра-классические коллегии. (Пр. пер.)

большинству из них в сущности только одни поверхностные сведения, если только даются и такие сведения, — в том единственном роде знания, который именно выставляется предметом особенных забот. Попробуем сначала, что может сделать добросовестное и разумное обучение, прежде чем будем решать, чего не может быть сделано.

В этом отношении Шотландия, говоря вообще, была гораздо| счастливее Англии. В Шотландии молодые люди никогда не считали, чтобы в школе или университете невозможно было научиться чему-нибудь еще, кроме греческого языка и латыни; и почему? Потому что греческий язык и латынь преподавались здесь лучше. Начало классического обучения постоянно делалось еще в обыкновенных школах, а эти обыкновенные школы в Шотландии, как и ее университет, никогда не были одними слабыми подобиями того, чем должны были быть, — как это было с английскими университетами в течение прошлого столетия и как с большей частью английских классических школ это остается до сих пор. Единственные сносные учебники латинской грамматики, какие только существовали до весьма недавнего времени в целой Англии, были написаны шотландцами. Правда, здравый смысл начинает постепенно проникать и в английские школы и выдерживать спор против рутины, хотя и до сих пор все еще очень неровный. Немногие практические реформаторы школьного обучения, между которыми замечательнейшим был Арнольд, положили начало улучшений во многих вещах, но реформы, заслуживающие этого имени, всегда бывают медленны, и реформа даже в правительствах и в церковных делах не бывает так медленна, как реформа в школе, потому что здесь представляется большое предварительное затруднение — приготовить инструменты: выучить учителей. Если бы в наших классических школах приняты были все улучшения в способе преподавания языков, уже освященные опытом, мы уже скоро перестали бы слышать о латинском и греческом языках, как о таком предмете, который должен поглощать школьные годы и делает невозможными все другие приобретения. Если бы мальчик учился по гречески и по латыни по тому же принципу, по которому даже ребенок так легко и скоро выучивается какому-нибудь новейшему языку, именно, приобретая некоторое знакомство с словарем на практике и повторением, прежде чем будут смущать его грамматические правила — так как эти правила усваиваются вдесятеро легче, когда уму воспитанника уже хорошо знакомы случаи, где они применяются, — то обыкновенный школьный мальчик| еще задолго до того возраста, когда оканчивается школьное ученье, был бы в состоянии бегло и с разумным интересом читать обыкновенного латинского или греческого писателя, прозаика или поэта, имел бы достаточное знание грамматического строя обоих языков и кроме того имел бы

время для приобретения большого запаса научного образования. Я мог бы идти еще дальше, но у меня также мало охоты высказывать все, что я считаю исполнимым в этом деле, как у Георга Стифенсона — о железных дорогах, когда он рассчитывал среднюю скорость поезда в десять миль в час, потому что если бы он определил ее выше, то «практические люди» не стали бы слушать его, так как они приняли бы его за энтузиаста и фантазера, — по их мнению человека самого опасного. Результаты показали в этом случае, кто был на деле человек практический. Я не берусь предсказывать, что показали бы результаты в другом случае. Но я скажу с уверенностью, что если бы двум классическим языкам учили как следует, то не было бы ни малейшей надобности выбрасывать их из школьного курса с целью получить достаточное количество времени для всяких других вещей, которые надобно включить в этот курс.

Позвольте мне сказать еще несколько слов об этой до странности узкой оценке того, чему возможно выучиться для человеческого существа, оценке, основывающейся на готовом предположении, что ученье идет так успешно, как только это возможно. Такое узкое понимание этого предмета не только извращает нашу идею о воспитании, но, если мы примем его, действительно помрачает наши ожидания относительно будущего прогресса человечества. Потому что, если неумолимые условия человеческой жизни делают бесплодными попытки одного человека знать больше одной вещи, то что же делается с человеческим умом, когда накопится масса фактов? С каждым поколением, и теперь быстрее чем когда-нибудь, все больше и больше умножаются вещи, которые кому-нибудь необходимо знать. Каждый отдел знания до такой степени переполняется подробностями, что человек, желающий знать их с мелочной точностью, должен ограничиваться все меньшей и меньшей долей их целого объема: каждая наука и искусство должны распадаться на подразделения, до тех пор пока доля каждого человека, область, которую он знает вполне, получит почти то же отношение к целому ряду полезного знания, как искусство приделывать к булавке головку относится к целому полю человеческой промышленности. Теперь, если для того, чтобы знать это немного вполне, необходимо оставаться в полном невежестве обо всем остальном, что же станет скоро с достоинством человека, что может он сделать для какой-нибудь человеческой цели, кроме своей собственной бесконечно-малой дроби человеческих нужд и потребностей? Его состояние будет даже хуже состояния простого невежества. Опыт доказывает, что нет ни одного изучения или занятия, которое бы, при исключении всех других, не стесняло и не извращало ума, воспитывая в нем известный разряд предрассудков, свойственных этому занятию, кроме обыкновенного предрассудка, общего всем узким спе-

циальностям, предрассудка против широких точек зрения, по неспособности усвоить и оценить их основания. Мы должны были бы ожидать, что человеческая природа будет все больше и больше мельчать и становиться неспособной к великим делам, вследствие своего успеха в малых. Но дело наше стоит не так дурно: такие печальные ожидания не имеют основания. Крайний предел человеческих приобретений состоит не в том, чтобы знать только одну вещь, а в том, чтобы соединить точное знание одной или немногих вещей с общим знанием многих вещей. Под общим знанием я разумею не несколько неопределенных впечатлений. Один замечательный человек, одно из сочинений которого составляет часть курса в этом университете, архиепископ Уатели⁴, хорошо определил разницу между общим знанием и| поверх- :15
ностным знанием. Иметь общее знание о предмете значит знать только одни его руководящие истины, но знать их не поверхностно, а вполне, так, чтобы иметь верное представление о предмете в его основных чертах, оставляя более мелкие подробности тем, кому они нужны для целей их специальных занятий. Между знанием обширного ряда предметов до этого пункта и между знанием какого-нибудь одного предмета с такой полнотой, какая нужна для людей, делающих его своим главным занятием, нет ничего несовместимого. Эта комбинация двух родов знания и создает просвещенную публику: собрание образованных умов, из которых каждый по собственным успехам в своей особой области знает, что такое действительное знание, и каждый знает о других предметах достаточно для того, чтобы разобрать, кто знает эти предметы лучше. Нельзя слишком мало ценить такого количества знания, какое дает нам возможность судить о том, к кому мы должны обратиться за большим количеством. Когда начала важнейших предметов знания распространены в массе достаточно, то люди, достигшие самых высоких вершин, находят публику, способную ценить их превосходство и приготовленную к тому, чтобы следовать их руководству. Кроме того, этим средством образуются умы, способные руководить и улучшать общественное мнение относительно важнейших дел практической жизни. Правительство и гражданское общество составляют самый сложный из всех предметов, доступных человеческому уму, и тот, кто захотел бы относиться к ним компетентно как мыслитель, а не как слепой последователь партии, должен иметь не только общее знание основных фактов жизни, как материальной, так и нравственной, но и ум, воспитанный и дисциплинированный в принципах

⁴ Архиепископ Уатели есть автор известного руководства по Логике, на которое вероятно и намекает Милль; также книг по Риторике, Политической Экономии, «Опытов о заблуждениях Католицизма», «Опытов об опасностях для христианской веры от обучения или образа жизни ее учителей» и других теологических сочинений. Ему принадлежит также издание Бакона и др. (*Пр. пер.*)

и правилах здравого мышления до той степени, какой не дают ни жизненный опыт, и никакая наука или отдел знания. И так, пойдем же, что целью нашей в ученье должно быть не только знать одну ту вещь, которая будет нашим главным занятием, знать так хорошо, как только она может быть узнана, но сделать это, и еще кроме того знать не|сколько и все великие предметы челове- :16
ческого интереса, стараясь знать это несколько с точностью: верно определяя разделительную черту между тем, что мы знаем с точностью, и чего с точностью не знаем, и помня, что нашей целью должно быть — приобрести истинное понятие о природе и жизни в их общих чертах, и что бесполезно тратить время на подробности какого-нибудь предмета, который вовсе не будет входить в круг нашей практической деятельности.

Отсюда не следует, впрочем, чтобы всякая полезная ветвь общего, непрофессионального знания должна была входить в программу школьных или университетских занятий. Есть вещи, которым можно лучше выучиться вне школы, или когда школьные годы, и даже те, какие проводятся в шотландских университетах, уже прошли. Я не согласен с теми реформаторами, которые хотели бы дать в школьном или университетском курсе правильное и важное место новейшим языкам. Не потому, чтобы я придавал знанию их мало значения. В наше время никто не может считаться человеком хорошо образованным, кто не знаком по крайней мере с французским языком настолько, чтобы легко читать французские книги; очень полезно также знать и немецкий язык. Но живые языки гораздо легче приобретаются посредством сношений с теми, кто употребляет их в ежедневной жизни; несколько месяцев, проведенных должным образом в самой стране, дадут гораздо больше, чем несколько лет школьных уроков; и потому, для тех, кому доступен этот более легкий способ усвоения их, будет настоящей потерей времени трудиться над ними с помощью одних книг и учителей, и со временем, при посредстве международных школ и коллегий, этот более легкий способ будет доступен для гораздо большего числа людей, чем теперь. Университеты достаточно облегчают изучение новейших языков, если сообщают полное знание того древнего языка, который составляет основу большей части из них, и обладание которым делает изучение четырех или пяти континентальных языков| более :17
легким, чем изучение одного из них без этого⁵. Далее, мне всегда

⁵ В русских обстоятельствах с этим мнением об изучении иностранных языков и литературы трудно согласиться вполне. Прежде всего, изучение новейших языков у нас не так легко, даже при хорошем обучении латинскому языку, потому что у нас нет выгоды близкого родства между отечественным языком и другими, как эта выгода всегда есть у англичанина и для романских, и для германских языков; далее, средство путешествий, предлагаемое Миллем, у нас мало доступно, по отдаленности и другим неудобствам; столько же, вероятно, будут неудобны для русских и международные школы. С другой стороны, изучение новей-

казалось большой нелепостью, что в школах преподаются история и география, — кроме элементарных школ для детей рабочих классов, у которых впоследствии доступ к книгам ограничен. Кто когда-нибудь приобретал настоящее знание истории и географии иначе, как из чтения? И до какой степени должна быть неудачна система воспитания, если она не развила в воспитаннике достаточно вкуса к чтению, чтобы он сам искал себе этого наиболее привлекательного и легко понятного из всех родов знания? Кроме того, такая история и география, какая может быть преподаваема в школах, не упражняет ни одной из способностей ума кроме памяти. В самом деле, то место, где учащийся должен быть введен в Философию Истории, есть Университет; где профессеры, не только знающие факты, но и размышлявшие о них, должны посвящать его в причины и объяснение прошедшей жизни человечества в ее главных чертах, насколько это для нас возможно. На этой ступени воспитания можно также остановить внимание учащегося и на исторической критике — пробном камне исторической истины. Что же касается до чистых исторических фактов, как они принимаются вообще, то какой воспитанный молодой человек с умом сколько-нибудь деятельным не изучит их достаточно сам, если ему просто указать историческую библиотеку? В этом, как и в большей части других предметов обыкновенного знания, ему нужно не то, чтобы его учили этому в детстве, а то, чтобы ему в изобилии были доступны книги.

:18

Итак, единственные языки и единственная литература, которым бы я предоставил место в обыкновенной программе, это язык и литература греков и римлян; и за ними я сохранил бы то место в этой программе, какое они занимают теперь. Это место оправдывается тем великим значением, какое имеет в воспитании знание какого-нибудь другого обработанного языка и литературы кроме своих собственных, и особенным значением собственно этих языков и литератур.

Знание языков доставляет одну чисто интеллектуальную пользу, на которой я в особенности желаю остановиться. Людей, серьезно размышлявших о причинах человеческих заблуждений, глубоко поражала склонность человечества принимать слова за вещи. Не входя в метафизику этого предмета, мы знаем, как часто люди употребляют слова совершенно свободно и по-видимому верно, и как доверчиво принимают эти слова, когда они употре-

ших языков, необходимое для «хорошо образованного» человека в Англии, у нас еще необходимее потому еще, что отдельность нашей истории от истории европейской делает для нас знание европейских литератур более существенной потребностью, в смысле средства образования; и наконец, своя литература далеко не так богата, чтоб доставить удовлетворительные средства даже для менее высокого уровня образования и дать возможность обойтись без средств новейших европейских литератур. (Пр. пер.)

бляются другими, — не имея вовсе никакого определенного представления о вещах, ими обозначаемых. Говоря опять словами архиепископа Уатели, человечество привыкло принимать знакомство за точное знание. Как нам редко приходит в голову спрашивать о смысле того, что мы видим каждый день, также точно когда наши уши слышат звук слова или фразы, мы не подозреваем, что этот звук не сообщает нашим умам никакой ясной идеи, и что нам было бы крайне трудно определить ее или выразить какими-нибудь другими словами то, что мы под ней разумеем. Очевидно, каким образом эта дурная привычка может быть исправляема упражнением в точных переводах с одного языка на другой, и в приискивании выраженного смысла в словаре, с которым мы не были знакомы с давних пор и из постоянного употребления. По моему мнению едва ли есть большее | доказательство необыкновенного гения греков, чем то, что они способны были сделать такие блестящие успехи в отвлеченной мысли, не зная обыкновенно никакого другого языка, кроме собственного. Но греки не избегли действия этого недостатка. Их величайшие умы, положившие основание философии и всей нашей умственной культуры, Платон и Аристотель, постоянно увлекаются словами, принимая обороты языка за действительные отношения в природе, и предполагая, что вещи, имеющие одно имя в греческом языке, должны быть одни и те же и по самой своей сущности. Есть известное изречение Гоббса, обширное значение которого вы будете оценивать больше и больше по мере того, как будет вырастать ваш собственный ум: «Words are the counters of wise men, but the money of fools» («Для умных людей слова — счетные марки, а для глупых — деньги»). У человека умного слово стоит вместо факта, который оно изображает; у глупого это самый факт. Продолжая метафору Гоббса, марка всего скорее будет принята за то, что она есть, теми людьми, которые привыкли употреблять разного рода марки. Но кроме выгоды владеть другим обработанным языком, есть другое столь же важное соображение. Не зная языка народа, мы никогда не узнаем настоящим образом его мыслей, его чувств и типа его характера; и если мы не владеем таким знанием еще какого-нибудь другого народа, кроме нас самих, мы остаемся, до часа нашей смерти, только с умом, раскрывшимся наполовину. Взгляните на молодого человека, который никогда не выходит из своего семейного кружка: он никогда не воображает себе других мнений или другого образа мыслей, кроме тех, в которых он был вскормлен; или, если он слышал о каких-нибудь других, он приписывает их какому-нибудь нравственному недостатку, или же несовершенству природы или воспитания. Если его семейство — тори, он не может понять возможности быть либералом; если это — либералы, он не понимает возможности быть тори. И чем бывают понятия и привычки одной семьи для мальчика, не

имевшего никаких сношений вне ее, тем бывают понятия и нравы страны для человека, не знающего | никакой другой страны. :20

Эти понятия и нравы по его мнению — сама человеческая природа; все, что непохоже на них, есть необъяснимое уклонение, которого он не может себе представить; идея, что какие-нибудь другие пути могут быть верными или столько же близкими к верным, как и его собственные, эта идея для него непонятна. Это не только закрывает ему глаза на многие вещи, которым каждая страна все-таки может научиться от других; это мешает всякой стране достигнуть улучшения, которого иначе она могла бы достигнуть. У нас нет вероятности исправить какое-нибудь из наших понятий или улучшить какой-нибудь из наших способов действий, если мы не поймем с самого начала, что они способны к исправлению и улучшению; но когда мы знаем только то, что иностранцы думают иначе, чем мы сами, не понимая, каким образом это может быть и что они действительно думают, это голое знание только утвердит нас в нашем самодовольстве и свяжет наше национальное тщеславие с сохранением наших особенностей. Улучшение состоит в том, чтобы поставить наши понятия в сколько возможно близкое согласие с фактами; и мы едва ли в состоянии будем сделать это, когда все еще смотрим на факты только через очки, окрашенные этими самыми понятиями. Но так как мы не можем отрешиться от предвзятых понятий, то нет другого известного средства устранить их влияние, кроме частого употребления иначе окрашенных очков другого народа; и чем больше отличаются от наших эти очки других наций, тем они лучше.

Но если так полезно поэтому знать язык и литературу какого-нибудь другого образованного и цивилизованного народа, то самую наибольшую цену в этом отношении имеют для нас языки и литература древних. Никакие нации новейшей цивилизованной Европы не имеют так мало сходства между собою, как непохожи на всех нас греки и римляне, не будучи однако, как некоторые отдаленные народы Востока, до такой степени отличны от нас, что нужен труд целой жизни, чтобы мы приобрели возможность понимать их. Если бы это была единственная польза, какую можно извлечь из знания древних, это | уже доставило бы из- :21

учению их высокое место между просвещающими и освобождающими предметами изучения. Безполезно говорить, будто мы можем знать их через новейшие сочинения. Конечно, мы можем несколько узнать о них этим путем, и это гораздо лучше, чем не знать ничего. Но новейшие книги не научают нас древней мысли; они научают нас понятиям какого-нибудь новейшего писателя о древней мысли. Новейшие книги не показывают нам греков и римлян; они сообщают нам мнения какого-нибудь новейшего писателя о греках и римлянах. Едва ли больше помогают и переводы. Когда нам нужно настоящим образом знать, что дума-

ет или говорит человек, мы стараемся узнать это из первых рук от него самого. Мы не доверяем впечатлениям других людей; мы обращаемся к его собственным словам. И делать это еще больше необходимо тогда, когда его слова говорят на одном языке, а нам передают их на другом. Новейшая фразеология никогда не передаст в точности смысла греческого писателя; она может сделать это не иначе как посредством длинного объяснительного перифраза, которого не решается употребить ни один переводчик. Мы должны быть в состоянии, до некоторой степени, думать по-гречески, если бы хотели представить себе, как думал грек, и притом не только в темной области метафизики, но и относительно политических, религиозных и даже домашних предметов жизни. Я упомяну еще о другой стороне этого вопроса, указание которой хотя делается и не мною первым, но о которой я не помню, чтоб я читал в какой-нибудь книге. В нашем знании нет отдела, который было бы так полезно получать из первых рук — из самого источника, — как наше знание истории. И в большей части случаев, мы едва ли когда-нибудь это делаем. Наше представление о прошедшем извлекается не из его собственных воспоминаний и заметок, но из книг, заключающих в себе не самые факты, а понятия о фактах, составившиеся в уме какого-нибудь человека нашего или весьма недавнего времени. Такие книги весьма поучительны и ценны; они помогают нам понимать историю, | толковать :22 историю, извлекать из нее важные заключения; в худшем случае, они представляют нам пример попытки сделать все это; но они не составляют самой истории. Сообщаемое ими знание принимается на веру, и даже когда они исполняют свое дело наилучшим образом, это знание не только неполно, но пристрастно, потому что ограничивается тем, что некоторые новейшие писатели увидели в материалах и сочли нужным извлечь из них. Как мало мы узнаем о наших собственных предках из Юма, или Галлама, или Маколея, в сравнении с тем, что мы узнаем, если к их пересказам прибавим даже небольшое чтение современных авторов и документов! Историки самого последнего времени так хорошо сознают это, что наполняют свои страницы извлечениями из подлинных материалов, чувствуя, что эти извлечения и составляют настоящую историю, а их объяснения и нить рассказа служат только пособием для ее понимания. Итак, одна часть великой цены изучения греческой и римской литературы заключается для нас в том, что в них мы читаем историю в ее подлинных источниках. Мы приходим в действительное соприкосновение с современными умами; мы не основываемся на одних слухах; у нас есть нечто, по чем мы можем проверить и отвергнуть представления и теории новейших историков. Могут спросить, почему же в таком случае не изучать подлинные материалы новейшей истории? Я отвечаю, что это чрезвычайно желательно, и мимоходом заме-

чу, что даже и это требует мертвого языка: почти все документы до Реформации и многие после нее написаны по-латыни. Но исследование этих документов, хотя и составляет в высшей степени полезное занятие, не может быть отраслью воспитания. Не говоря об их обширном объеме и отрывочности каждого отдельно, самая сильная причина состоит в том, что изучая дух нашего прошедшего, до сравнительно нового периода, из современных писателей, мы едва ли научаемся чему-нибудь еще. За немногими исключениями, эти писатели мало заслуживают чтения сами по себе. Между тем, изучая великих писателей древности, мы не только научаемся понимать древний дух, но собираем запас мудрой мысли и наблюдения, имеющих цену и для нас самих, и в то же время мы знакомимся со многими совершеннейшими литературными произведениями, какие только создал человеческий ум — произведениями, с которыми, по изменившимся условиям человеческой жизни, в будущие времена вероятно редко что-нибудь сравнится такими выдержанными достоинствами.

Даже просто в смысле языка ни один новейший европейский язык не представляет такого ценного упражнения для ума, как языки Греции и Рима, вследствие их правильного и сложного устройства. Рассмотрим на минуту, что такое грамматика. Это — самая элементарная часть логики. Это — начальный анализ процесса мышления. Начала и правила грамматики суть средства, которыми формы языка приводятся в соответствие с общими формами мысли. Различения между разными частями речи, между падежами имен, наклонениями и временами глаголов, значениями частиц, суть различения в мысли, а не в одних словах. Отдельные имена и глаголы выражают предметы и события, из которых многие могут быть познаваемы чувствами, но способы соединения имен и глаголов вместе выражают отношения предметов и событий, которые могут быть познаваемы только умом, и каждый особый способ соединения соответствует особому отношению. Устройство каждого предложения есть урок в логике. Разные правила синтаксиса заставляют нас различать между подлежащим и сказуемым предложения, между управляющим, управлением и управляемым; замечать, когда одна идея предназначается для того, чтобы видоизменить или определить другую, или только соединиться с ней; какие утверждения бывают категорические и какие только условные; бывает ли целью выразить сходство или контраст, сделать многие утверждения соединительно или разделительно; какие части фразы, хотя сами по себе грамматически полные, составляют только члены или подчиненные части суждения, выражаемого целой фразой. Такие вещи составляют предмет общей грамматики, и всего лучше научают ей те языки, правила которых наиболее определены и которые доставляют особые формы для наибольшего чис-

ла отличий в мысли, | так что если бы мы не наблюдали с точностью которого-нибудь из них, то не могли бы избежать солесцизма в языке. В этих качествах классические языки имеют несравненное превосходство над каждым новейшим языком и над всеми языками мертвыми и живыми, которые имеют литературу, достойную общего изучения. :24

Но еще более замечательно и решительно, для целей воспитания, превосходство самой литературы. Она далеко не была заменена даже относительно сущности того содержания, которому она служила выражением. Новое время чрезвычайно превосходит древних по научным открытиям, и то из древних открытий, что имеет еще значение, может быть очень удобно включено в новейшие трактаты, но что не так удобно может быть перенесено целиком или вынуто по частям, это — собранное ими сокровище того, что можно назвать жизненной мудростью: богатый запас опытности относительно человеческой природы, который передали в своих сочинениях проницательные и наблюдательные умы тех веков, облегчаемые в своих наблюдениях большей простотой нравов и жизни, и большая часть которого сохранила до сих пор всю свою цену. «Речи» у Фукидида; «Риторика», «Этика» и «Политика» Аристотеля; «Диалоги» Платона; «Речи» Демосфена; «Сатиры» и особенно «Послания» Горация; все сочинения Тацита; великий труд Квинтилиана, собрание лучших мыслей древнего мира о всех предметах, касающихся до воспитания; и, менее формальным образом, все, что осталось для нас от древних историков, ораторов, философов и даже драматических писателей — все это исполнено замечаниями и правилами удивительно здорового смысла и проницательности, применимых и к политической, и к частной жизни, и положительные истины, которые мы находим у них, даже уступают в своей ценности перед тем возбуждением и содействием, какое дают они для изыскания истины. Человеческое изобретение никогда не производило ничего столько замечательного, и в смысле возбуждения, и в смысле дисциплины, для исследующего ума, как диалектика древних, теорию которой объясняют многие из сочинений Аристотеля, а практику представляют сочинения Платона. Никакие новейшие сочинения не могут равняться с ними в указаниях, правилами и примерами, способа исследования истины о тех, имеющих для нас великую важность предметах, которые еще остаются спорными по трудности или невозможности подвергнуть их прямому исследованию опытом. Подвергать исследованию все вещи; никогда не уступать от трудности; не принимать никакого учения, ни своего собственного, ни получаемого от других, без строгого испытания отрицательной критикой, не позволяя проскользнуть или остаться незамеченным ни одному софизму, или несообразности, или смешению понятий; и в особенности, настаивать на :25

ясном понимании слова, прежде чем употребить его, и на понимании смысла положения, прежде чем согласиться на него, — таковы уроки, которые мы получаем от древних диалектиков. При всем этом сильном обладании отрицательным элементом, они вовсе не внушают скептицизма относительно реальности истины, или равнодушия к ее изысканию. Этим писателей проникает благороднейший энтузиазм и в стремлении к истине и в применении ее к высочайшим вопросам; этот энтузиазм проникает и Аристотеля и Платона, хотя Платон имеет несравненно бóльшую силу сообщать эти чувства другим. Поэтому, занимаясь древними языками, как нашим лучшим литературным воспитанием, мы тем самым закладываем удивительное основание для нравственной и философской культуры. В чисто литературных достоинствах — в совершенстве формы — превосходство древних не подлежит спорам. В каждой области, где они себя пробовали, а они пробовали себя почти во всех, их литературная композиция, как и их скульптура, была для величайших новейших художников примером, который оставался недостижимым предметом удивления, но имел неоцененную важность, как свет, руководивший их собственные стремления. В прозе и в поэзии, в эпосе, лирике и драме, как и в истории, философии и ораторском искусстве, пьедестал, на котором они стоят, одинаково высок. Я говорю теперь о форме, артистическом совершенстве исполнения, потому что относительно содержания я считаю, что новейшая поэзия выше древней, таким же образом, хотя в меньшей степени, как новейшая наука выше древней: она входит в природу глубже. Чувства новейшего человека разнообразнее, сложнее и многостороннее, чем когда-нибудь были чувства древних. Новейший ум отличается рефлексией и сознательностью, чем не отличается древний, и его размышляющая самосознательность открыла в человеческой душе такие глубины, каких не воображали себе греки и римляне и каких они бы не поняли. Но то, что они хотели выразить, они выражали так, что с ними могли бы серьезно пытаться соперничать только немногие даже из величайших писателей новейшего времени. Надобно вспомнить, что у них было больше времени, и что они писали главным образом для избранного класса, владевшего досугом. Для нас, которые пишем второпях, для людей, которые второпях читают, пытаться достигнуть равной степени отделки было бы потерей времени. Но иметь знакомство с совершенными образцами тем не менее важно для нас, потому что стихия, в которой мы трудимся, не допускает даже усилия сравняться с ними. Они по крайней мере показали нам, что такое совершенство, и побуждают нас желать его и стремиться подойти к нему столько близко, сколько это для нас доступно. И в этом заключается значение для нас древних писателей, тем более решительное, что их достоинства не допускают копировки или прямо-

го подражания. Их совершенство заключается не в каком-нибудь приеме, которому можно выучиться, а в совершенном применении средств к целям. Тайна стиля великих греческих и римских писателей в том, что это есть совершенство здравого смысла. Во-первых, они никогда не употребляют слова без мысли, или слова, которое ничего не прибавляет к мысли. Прежде всего, у них всегда есть мысль; они знают, что им нужно сказать, и вся их цель была та, чтобы сказать это с высшей степенью точности и полноты и передать это уму с величайшей возможной ясностью и живостью. Им никогда не приходило в голову написать литературную пьесу, которая была бы прекрасна сама по себе, независимо от того, что она должна была выразить: вся внешняя красота у них должна была служить для совершеннейшего | выражения смысла. :27 Та *curiosa felicitas*, которую их критики в особенности приписывали Горацию, выражает образец, к которому все они стремились. Их стиль верно характеризуется определением Свифта: «The right words in the right places». Посмотрите на речь Демосфена: в ней нет ничего, что бы останавливало на себе внимание в смысле стиля; мы только после внимательного исследования замечаем, что всякое слово есть то, чем оно должно быть и где оно должно быть, чтобы мягко и неощутительно привести слушателя в то состояние духа, которое оратор желает произвести. Совершенство отделки видно только в полном отсутствии всякой ошибки или недостатка, и в отсутствии всего того, что нарушает течение мысли и чувства, что хоть на минуту отвлекает ум от главного предмета. Но затем (как было хорошо замечено) целью Демосфена было не заставить афинян восклицать: «Какой отличный оратор!», а заставить их сказать: «Пойдем против Филиппа!» Только с упадком древней литературы украшение начинает делаться предметом внимания чисто как украшение. Во времена зрелости этой литературы даже самый простой эпитет не получал места потому только, что считался прекрасен сам по себе; он не употреблялся даже для чисто описательной цели, потому что чисто описательные эпитеты были уже одной из порч стиля, какими изобилует например Лукан: слову не было места, если только оно не вносило черту, которая была нужна, и не помогало поставить предмет в том свете, какого требовала цель произведения. Когда эти условия были исполнены, тогда действительно внутренняя красота употребленных средств была источником добавочного эффекта, которым они позволяли себе пользоваться, как например ритм и мелодия стиха. Но эти великие писатели знали, что украшение ради украшения, привлекающее внимание на самого себя и блестящее своими собственными красотами, не может не отвлекать ума от главного предмета, и таким образом не только мешает главной цели человеческой речи, которая должна, и вообще предназначается, сообщать какое-нибудь содержание, независи-

мо от возбуждения минуты, но и уничтожает совершенство произведения в смысле искусства, разрушая единство впечатления. Итак, вот первый важный урок в литературной композиции, какой мы извлекаем из классических авторов. Второй урок — не быть многословным. Фукидид в одном параграфе может дать ясное и живое изображение битвы, которое редко может забыть читатель, раз его воспринявший. Описание Сицилийской катастрофы в его седьмой книге есть, быть может, самый замечательный и поразительный образчик рассказа во всей исторической литературе, и однако же как мало наполняет он страниц! Древние были кратки, потому что писали с величайшим старанием; почти все новейшие писатели многословны, потому что у них нет этого старания. Великие древние писатели умели выразить мысль в немногих словах или фразах с таким совершенством, что им незачем было прибавлять еще других слов; новейшие не умеют выразить мысли ясно и полно с одного раза, и потому возвращаются к ней несколько раз, нанизывая одну фразу на другую, прибавляя в каждой понемногу новых объяснений, в надежде, что хотя ни одна фраза отдельно не выражает полного смысла, но все вместе дает о ней достаточное понятие. Я опасаясь, что в этом отношении мы становились хуже, а не лучше, по недостатку времени и терпенья и по необходимости обращаться почти со всеми сочинениями к занятой и несовершенно приготовленной публике. Требования новейшей жизни таковы, — дело, которое нужно сделать, и масса, которую нужно обработать, так обширны, что люди, которые имеют сказать что-нибудь особенное, которые, как говорится, должны исполнить известную миссию, не могут употреблять своего времени на писание мастерских произведений. Но они писали бы еще хуже, чем пишут, если бы никогда не существовало мастерских произведений, или если бы они не знали их. Раннее знакомство с совершенным делает наши наиболее несовершенные произведения менее дурными, чем они были бы иначе. То, что мы имеем перед собой высокий образец превосходства, часто составляет всю разницу, делающую наше произведение хорошим, когда иначе оно было бы посредственным. |

По всем этим причинам я считаю важным удержать эти два языка и литературы на том месте, какое они занимают в составе высшего общего воспитания, т. е. воспитания всех, кто не бывает принужден обстоятельствами прекратить свои школьные занятия в очень раннем возрасте. Но те самые причины, которые говорят в защиту этой роли классического изучения в общем воспитании, показывают также и настоящие его границы. Оно должно идти настолько, сколько достаточно, чтобы дать воспитаннику возможность впоследствии легко читать великие произведения древней литературы. Само собою разумеется, что люди, имеющие досуг и склонность, чтобы сделаться учеными по древней

истории или общей филологии, должны делать гораздо больше, но в общем воспитании для большего нет места. Трудолюбивое безделье, на которое теряется время в английских классических школах, заслуживает самого строгого осуждения. К чему безвозвратно расточаются драгоценнейшие годы молодости на то, чтобы выучиться писать плохие греческие и латинские стихи? Я не вижу, чтобы можно было сказать другое даже и о тех, кто наконец пишет эти стихи хорошо. Мне часто хотелось спросить любителей природы и фортуны: неужели сделан весь серьезный и важный труд мира, чтобы их время и силы могли сберегаться для этих *nugae difficiles*? Я могу понимать пользу писать на известном языке как средства изучить его вполне. Я едва ли знаю другое более действительное средство. Но отчего же не достаточно для этого прозаических сочинений? И что за необходимость вообще в оригинальных сочинениях — если можно назвать оригинальным то, что несчастные школьные мальчики, не имея в голове никакой мысли, вынуждаются придумывать кое-как по памяти, приобретая вредную привычку просто нанизывать чужие фразы, привычку, искоренение которой учитель должен бы был считать одной из своих первых обязанностей? То упражнение в сочинении, какое всего соответственнее потребностям ученика, есть чрезвычайно полезное упражнение в обратном переводе переведенных мест из хорошего писателя, и к этому можно было бы еще прибавить упражнение, употребительное во многих континентальных заведениях, — разговор на латинском языке. За потерю времени на фабрикацию стихов еще можно было бы сказать что-нибудь, если бы такое занятие было необходимо для наслаждения древней поэзией; хотя было бы лучше потерять это наслаждение, чем покупать его такой сумасшедшей ценой. Но красоты великого поэта были бы гораздо более бедной вещью, чем они есть, если бы они производили на нас впечатление только через знание техники его искусства. Поэту нужна была эта техника; для нас она не необходима. Она важна для критического разбора поэмы, а не для наслаждения ею. Для этого достаточно одного знакомства с языком, чтобы смысл поэмы доходил к нам без всякого чувства усилия и одетый теми ассоциациями понятий, на которые рассчитывал поэт для произведения своего эффекта. Всякий, у кого есть это знакомство и приученное ухо, может находить такую же прелесть в музыке Вергилия и Горация, как и Грея, Борнса и Шелли, хотя и не знает метрических правил обыкновенного сафического или алкейского стиха. Я не говорю, чтобы этим правилам не нужно было учить, но я сделал бы для них особые курсы и принадлежащие сюда упражнения сделал бы добровольно выбираемой, а не обязательной частью школьного преподавания.

Можно было бы сказать гораздо больше о классическом обучении и о литературном образовании вообще, как части высшего

общего воспитания. Но пора сказать о пользе научного преподавания, или скорее, об его неизбежной необходимости, потому что оно указывается всеми соображениями, какие только говорят вообще за высший порядок умственного воспитания.

Наиболее очевидная доля значения научного преподавания, чистое сообщение сведений, говорит за себя сама. Мы родимся в мир, устроенный не нами, мир, явления которого совершаются по определенным законам, о которых мы не приносим с собой в этот мир никакого знания. В таком мире нам предназначено жить, и в нем должно быть совершено все наше дело. Вся наша способность к деятельности зависит от знания законов мира, — **:31** другими словами, от знания свойств вещей, среди которых, с помощью которых и на которые нам надо действовать. В значительной части этого знания мы можем полагаться и полагаемся на нескольких людей, которые в каждой области делают приобретение этого знания главным трудом своей жизни. Но если в обществе не распространено элементарное знание научных истин, то люди никогда не знают, что несомненно и что нет, или кто имеет право говорить с авторитетом и кто нет; и люди или не верят вообще в свидетельство науки, или беспрестанно становятся игрушкой шарлатанов и обманщиков. Они постоянно переходят от невежественного недоверия к слепому, часто дурно направленному, доверию. Притом, кто бы не желал понимать смысла обыкновенных физических явлений, происходящих у него перед глазами? Кто бы не желал знать, каким образом насос поднимает воду, рычаг движет большие тяжести, почему под тропиками жарко, а под полюсами холодно, почему луна иногда светла, а иногда темна, отчего происходит прилив и отлив? Не чувствуем ли мы, что человек, совершенно не знающий этих вещей, как бы он ни был искусен в своей специальной профессии, не есть человек образованный, а невежа? Конечно, в воспитании немалым делом было бы и то, если бы оно доставляло нам разумное обладание чрезвычайно важными и в высшей степени любопытными фактами вселенной, так чтобы окружающий нас мир не был для нас запечатанной книгой, которая не интересна, потому что непонятна. И однако же это только самая простая и очевидная доля пользы науки и доля, которая, если она была пренебрежена в молодости, может быть чрезвычайно легко восполнена впоследствии. Но гораздо важнее понять значение научного обучения как воспитательного и дисциплинирующего процесса, образующего ум для настоящей деятельности человеческого существа. Факты, это — материал нашего знания, но самый ум есть орудие, и легче приобрести факты, чем судить о том, что они означают, и каким образом от фактов, нам известных, прийти к фактам, которые нам надо знать. | **:32**

Самое постоянное занятие человеческого ума в течение жизни есть открывание истины. Нам всегда нужно знать настоящую истину относительно того или другого предмета. Не всем нам дано открывать великие общие истины, составляющие свет для всех людей и для будущих поколений; хотя при лучшем, чем теперь, общем образовании число людей, которые бы могли делать эти открытия, было бы гораздо больше, чем оно есть. Но нам всем нужна способность решать между противоположными мнениями, которые представляются нам как жизненные истины, например выбирать, какие учения хотим мы принять в религиозном вопросе; решать, будем ли мы тори, виги или радикалы, или до какого пункта мы обязаны идти с теми или другими; составлять себе рациональное убеждение о великих вопросах законодательства и внутренней политики и о том, как наша страна должна относиться к зависящим от нее землям и к иноземным нациям. И эта необходимость уметь различать истину не ограничивается одними обширными истинами. В течение целой жизни самым настоятельным нашим интересом бывает найти правду обо всех вещах, которые до нас касаются. Если мы фермеры, нам нужно найти, что может действительно улучшить нашу почву; если купцы — что окажет истинное влияние на сбыт наших товаров; если судьи, присяжные или адвокаты — кто истинно совершил незаконный акт или кому истинно принадлежит спорное право. Каждый раз, когда нам нужно делать новое решение или изменять старое, в каком бы ни было житейском положении, мы ошибемся, если только не знаем истины о фактах, от которых зависит наше решение. Но как бы ни казались различны эти поиски за истиной и как ни мало в самом деле сходства в их предметах, методы нахождения истины и способы проверки ее во всех случаях почти одни и те же. Есть только два пути, какими может быть открыта истина: наблюдение и рассуждение, — наблюдение, конечно, включающее и опыт. Все мы наблюдаем и все мы рассуждаем и потому все мы, более или менее успешно, открываем истины, но большая часть из нас делает это очень дурно и даже вовсе не могла бы делать, если бы мы не имели возможности полагаться на других, делающих это лучше. Если бы мы не могли делать этого вовсе, мы были бы простыми орудиями в руках тех, кто может; эти последние были бы в состоянии привести нас в рабство. Каким же образом мы можем всего лучше научиться этому? Узнавши способ, каким это уже с успехом делалось. Процессы, которыми достигается истина, размышление и наблюдение, доведены были до их величайшего известного совершенства в физических науках. Как классическая литература представляет самые совершенные типы искусства выражения, так физические науки — самые совершенные типы искусства мышления. Математика и ее приложение к астрономии и естествознанию представляет самый

полный пример открытия истины рассуждением, экспериментальная наука — пример открытия ее прямым наблюдением. Во всех этих случаях мы знаем, что можем доверять операции, потому что заключения, к которым она привела, оказались верными при последующей проверке. Таким образом, посредством изучения их мы можем надеяться приобрести умение различать истину, в тех случаях, где не существует тех же готовых средств проверки.

В чем состоит главная и самая характеристическая разница между умом одного человека и умом другого? В их способности правильно судить о данных. Наши прямые восприятия истины так ограничены, мы узнаем так мало из прямого наглядного наблюдения, что почти во всем нашем важном знании мы зависим от посторонних ему данных, и большинство из нас весьма ненадежные судьи для оценки данных, где нельзя сделать прямой апелляции к наблюдению своими собственными глазами. В интеллектуальной части нашего воспитания нет задачи столько важной, как исправление или смягчение этой почти всеобщей болезни — этой суммы и сущности почти всякой чисто умственной слабости. Чтобы исполнить эту задачу с успехом, для этого нужны все ресурсы, какие может иметь в распоряжении самая совершенная система умственного воспитания. Эти ресурсы, как знает всякий учитель, бывают только трех родов: | во-первых, обра- :34
разцы; во-вторых, правила; в-третьих, соответственная практика. Образцы искусства оценивать данные доставляются наукой; правила сообщаются наукой; и изучение науки есть самая фундаментальная часть практики.

Возьмем для первого примера математику. Из математики мы главным образом извлекаем тот факт, что есть действительно путь к истине посредством рассуждения; что одной деятельностью ума можно приобрести нечто реальное и такое, что окажется истинным при проверке. Крайнее злоупотребление чистого рассуждения во времена схоластики, когда люди смело принимались делать выводы о мнимых фактах внешней природы, не установивши должным образом своих посылок и не поверяя выводов наблюдением, это злоупотребление создало в новейшее время, и особенно у англичан, предубеждение против всякого дедуктивного рассуждения как способа исследования. Предубеждение держалось долго и подкреплялось дурно понятым авторитетом лорда Бакона, пока изумительные приложения математики к физической науке — к открытию законов внешней природы — медленно и мало по малу не восстановили дедуктивного процесса на том месте, какое принадлежит ему в качестве источника реального знания. Математика, чистая и прикладная, остается великим решительным примером того, что может быть сделано дедуктивным рассуждением. Математика научает нас так-

же некоторым из главных предосторожностей для верности процесса. Наши первые занятия геометрией дают нам два драгоценных урока. Во-первых, изложить в самом начале, в ясных и точных выражениях, все посылки, из которых мы намереваемся рассуждать. Во-вторых, отчетливо отделять каждую ступень в рассуждении от всех других ступеней и обеспечивать достоверность каждой ступени, прежде чем переходить к другой, положительно разъясняя себе, при каждой связи аргументов в рассуждении, какую мы вводим новую посылку. Нам нет необходимости делать это всякий раз, во всех наших рассуждениях. Но мы всегда должны быть в состоянии и готовы делать это. Если твердость нашего аргумента отвергается или если мы сами сомневаемся в нем, это дает возможность проверить его. Таким образом, мы часто можем сразу открыть то место, где происходит паралогизм или не-правильность, и после достаточной практики мы можем приучиться устранять их с самого начала. Далее, математике мы обязаны также нашим первым понятием о связанном собрании истин, которые вырастают одна из другой и связаны между собою так, что каждая предполагает все остальные, что ни одной из них нельзя подвергнуть сомнению, не противореча другой или другим, пока в заключение не оказывается, что ни одна часть системы не может быть ложной, если не ложна вся эта система. Чистая математика первая дала нам это понятие; математика прикладная распространяет его на царство физической природы. Прикладная математика показывает нам, что не только истины отвлеченного числа и протяжения, но и внешние факты вселенной, которые мы воспринимаем своими чувствами, составляют — по крайней мере в обширной части всей природы — такую же связанную ткань. Рассуждая от немногих основных истин, мы в состоянии объяснять и предсказывать явления материальных предметов, и что еще замечательнее, самые эти основные истины открыты были рассуждением, потому что они не таковы, как собственно представляются чувствам, но должны были быть выведены математическим процессом из массы мелких подробностей, которые одни бывали прямо доступны наблюдению человека. Когда Ньютон открыл таким образом законы солнечной системы, он создал для всего потомства истинную идею науки. Он дал самый совершенный пример, какой только мы можем иметь, того соединения рассуждения и наблюдения, которое посредством фактов, возможных для прямого наблюдения, восходит к законам, управляющим массами других фактов, — законам, которые не только разъясняют нам то, что мы видим, но и вперед дают нам уверенность во многом, чего мы не видим, во многом, чего мы никогда бы не открыли наблюдением, хотя, будучи открыто, оно всегда оправдывается результатом.

В то время как математика и математические науки доставляют нам типический пример открывания истины рассуждением, те физические науки, которые не суть математические, как химия и чисто экспериментальная физика, в таком же совершенстве показывают нам другой способ достигать положительной истины, посредством наблюдения, в его самой точной форме — форме опыта (эксперимента). Значение математики с логической точки зрения есть давнишняя тема математиков, и оно выставлялось с такой исключительностью, что это вызвало противоположную крайность, пример которой представляет известный опыт сэра Вильяма Гамильтона, но логическое значение экспериментальной науки есть предмет сравнительно новый, и однако же нет умственной дисциплины важнее той, какую доставляют экспериментальные науки. Все их дело состоит в том, чтобы делать хорошо то, что нам всем в течение целой жизни приходится делать большею частью дурно. Не все люди выдают себя за мыслителей, но все утверждают, что извлекают выводы из опыта, и действительно пытаются делать это; и однако же, едва ли человек, не изучавший физических наук, имеет сколько-нибудь верное понятие о том, что такое есть в самом деле процесс истолкования опыта. Если раз или больше совершился известный факт и за ним последовал другой, то люди думают, что они имели опыт и что они получают возможность показать, что один из этих фактов есть причина другого. Если бы они знали огромное количество предосторожностей, необходимое для научного опыта, если бы знали, с каким заботливым вниманием исследователь комбинирует и изменяет сопровождающие обстоятельства, чтобы устранить все агенты, кроме того, который составляет предмет опыта, или, — когда нарушающие агенты не могут быть устранены, — с какой мелочной точностью вычисляется и допускается их влияние, для того, чтобы результат мог представлять только то, что происходит от одного исследуемого агента, — если бы люди знали эти вещи, они бы далеко не так легко убеждались, что их мнения имеют за себя доказательство опыта; многие ходячие понятия и обобщения, которые повторяются всеми, считались бы значительно меньше несомненными, чем они предполагаются, и нам нужно было бы начать основание истинно экспериментального знания о вещах, составляющих теперь предмет совершенно неопределенных споров, где одна сторона может сказать столько же и так же самоуверенно, как другая, и где мнение каждого человека определяется не столько данными, сколько его случайным интересом или предубеждением. Например, в политике всякому человеку, который переходит к ней от изучения экспериментальных наук, очевидно, что прямым опытом нельзя прийти ни до каких политических выводов, сколько-нибудь важных для практики. Тот специфический опыт, какой мы можем иметь

здесь, служит, и то весьма недостаточно, только для поверки выводов, добытых рассуждением. Возьмите в политике какую угодно деятельную силу, например, английские общественные права или свободную торговлю, — как могли бы мы знать, что какая-нибудь из этих вещей ведет к благосостоянию, если бы мы не замечали в самых этих вещах стремления производить его? Если бы мы имели одни указания того, что называется нашим опытом, то наше благосостояние могло бы быть результатом сотни других причин, а в этих причинах могло бы находить помеху, а не содействие. Всякая истинная политическая наука есть, в одном смысле слова, наука *a priori*, так как выводится из стремлений вещей, стремлений, известных или по нашему общему опыту о человеческой природе, или известных в качестве результата исследования истории, рассматриваемой как прогрессивное развитие. Поэтому она требует соединения индукции и дедукции, и ум, стоящий на высоте этой науки, должен быть хорошо дисциплинирован в обеих. Но знакомство с научным опытом (т. е. опытом экспериментальных наук) приносит по крайней мере пользу тем, что внушает спасительный скептицизм относительно заключений, какие внушает одна поверхностная внешность опыта.

Это изучение, с одной стороны — математики и ее приложений, с другой — экспериментальной науки, приготавливает нас к главному делу ума, упражняя его в самых характеристических случаях и знакомя с самыми совершенными и успешными его образцами. Но в великих вещах, как и в малых, одних примеров и образцов недостаточно; нам столько же нужны правила. Знакомство с правильным употреблением языка в разговоре и письме не делает правил грамматики ненужными, и самое обширное знание наук дедуктивных и экспериментальных не делает ненужными правил Логики. Мы можем всю нашу жизнь слышать правильные рассуждения и видеть искусные опыты, но мы не выучимся делать того же простым подражанием, если не обратим старательного внимания на то, как это делается. В этих абстрактных предметах гораздо легче, чем в предметах чисто механических, принять дурную вещь за хорошую. Указать различие между ними есть дело Логики. Логика устанавливает общие принципы и законы изыскания истины, те условия, которые, будут ли они признаны или нет, должны быть соблюдены, если ум сделал свое дело правильно. Логика есть умственное орудие математики и физики. Эти науки дают практику, для которой Логика есть теория. Она заявляет принципы, правила и предписания; эти науки дают пример их исполнения и соблюдения.

Наука Логики имеет две части: умозрительную (дедуктивную) и индуктивную логику. Одна помогает нам правильно рассуждать от посылок, другая — правильно делать выводы из наблюдений. Умозрительная логика гораздо старше индуктивной, пото-

му что рассуждение в теснейшем смысле слова есть процесс более легкий, чем индукция, и наука, действующая одним рассуждением, чистая математика, была доведена до значительной высоты в то время, когда науки наблюдения находились еще в чисто эмпирическом периоде. Поэтому принципы умозрения были поняты и систематизированы всего раньше, и логика умозрения даже и теперь уместна на более ранней ступени воспитания, чем логика индукции. Принципов индукции нельзя понимать надлежащим образом без некоторого предварительного изучения индуктивных наук, но логика умозрения, уже доведенная до высокой степени совершенства Аристотелем, не требует абсолютно даже знания математики, а может быть достаточно объяснена и снабжена примерами из практики ежедневной жизни. :39

Я решаюсь сказать, что если бы изучение логики ограничивалось даже одной логикой умозрения, теорией имен, предложений и силлогизмов, в умственном воспитании нет предмета, который бы имел большую важность и который бы так дурно было заменить чем-нибудь другим. Правда, польза логики главным образом отрицательная; дело ее состоит не столько в том, чтобы научить нас идти верно, сколько удерживать нас от того, чтобы идти неверно. Но в операциях ума гораздо легче идти неверно, чем верно; даже для самого сильного ума бывает до такой степени невозможно удерживаться на прямой дороге, не наблюдая внимательно за всеми отклонениями и не замечая всех окольных путей, в которых можно заблудиться, что главная разница между одним рассуждающим человеком и другим заключается в их большей или меньшей склонности заблуждаться. Логика указывает все возможные способы, которыми, выходя из верных посылок, мы можем извлечь фальшивые заключения. Своим анализом процесса рассуждения и формами, доставляемыми ею для установления и ведения наших суждений, она дает нам возможность остерегаться на тех пунктах, где грозит проскользнуть софизм, или сейчас же заметить то место, где он проскользнул. Когда я принимаю в соображение, как проста теория рассуждения, какого небольшого времени достаточно для приобретения полного знания ее принципов и правил и даже значительной опытности в их применении, я не нахожу никакого извинения для тех, кто, желая с успехом заниматься каким-нибудь умственным трудом, упускает это изучение. Логика есть великий преследователь темного и запутанного мышления; она рассеивает туман, скрывающий от нас наше невежество и заставляющий нас думать, что мы понимаем предмет, когда мы его не понимаем. Мы не должны увлекаться рассказами о тех удивительных гигантах, которые совершают великие подвиги сами не зная как и видят самые скрытые истины без всяких обыкновенных пособий и не будучи в состоянии объяснить другим людям, как они приходят к своим :40

заклучениям, или последовательно убедить кого-нибудь другого в их истинности. Такие люди могут быть, как есть глухонемые люди, которые делают умные вещи, но из-за этого слух и речь все не делаются лишними способностями. Если вам надо знать, правильно ли вы мыслите, переложите ваши мысли в слова. В самой попытке сделать это окажется, что вы сознательно или бессознательно пользуетесь логическими формами. Логика побуждает нас разлагать нашу мысль на отдельные предложения и наше суждение — на отдельные ступени. Она дает нам сознание обо всех принимаемых положениях, с помощью которых мы ведем рассуждение и которые в случае ошибочности портят весь наш процесс. Логика дает нам видеть, до какого пункта мы доходим в каком-нибудь учении при известном ходе рассуждения, и принуждает нас смотреть прямо на принимаемые посылки и отдавать себе отчет, можем ли мы принять их. Она делает наши мнения последовательными самим себе и одно другому и заставляет нас мыслить ясно, даже когда не может заставить нас мыслить правильно. Правда, что заблуждение может быть столько же последовательным и систематическим, как истина, но обыкновенно этого не бывает. Для нас немалая выгода в том, чтобы ясно видеть принципы и последствия, заключающиеся в наших мнениях и которые мы или должны принимать, или же, иначе, оставлять эти мнения. Мы бываем гораздо ближе к отысканию истины, когда мы ищем ее при ясном дневном свете. Заблуждение, строго проводимое до всех своих последствий, редко остается неоткрытым, приходя в столкновение с каким-нибудь известным и принятым фактом.

Вы найдете много людей, которые скажут вам, что логика несколько не помогает мысли и что правила не могут научить человека мыслить. Нет сомнения, что одни правила, без практики, мало научают чему-нибудь. Но если практика мышления не улучшается правилами, то я решаюсь сказать, что это — единственная трудная вещь, какую человеческие существа делают| таким образом. Человек научается пилить дерево главным образом на практике, но для этого есть правила, основанные на свойстве дела, и если он не научился этим правилам, он не будет хорошо пилить до тех пор, пока не найдет их сам. Где есть верный способ и неверный способ, между ними должна быть разница и должно быть возможно узнать, в чем эта разница; и когда это найдено и выражено на словах, это — правило для действия. Если кто склонен с пренебрежением отзываться о правилах, я скажу ему: попробуй изучить что-нибудь, для чего существуют правила, не зная этих правил, и посмотри, насколько ты успеешь. Тем, кто легко относится к школьной логике, я скажу: возьмите на себя труд изучить ее. Вы легко сделаете это в несколько недель и увидите, останется ли это без всякой пользы для уяснения вашего

ума и для того, чтобы вы не спотыкались в темноте о самые крайние софизмы. Ни один человек, я полагаю, действительно научившись ей и пользуясь ею, не будет нечувствителен к ее благотворности, если только он не увлечен предубеждением или, как некоторые замечательные шотландские и английские мыслители прошлого века, не находится под влиянием реакции против преувеличенных претензий школьных ученых не столько в пользу логики, сколько самого процесса рассуждения. Польза логики должна быть оцениема еще больше, если кроме умозрения мы включим в нее (как и должны включать) принципы и правила индукции. Как одна логика предохраняет нас от плохой дедукции, так другая — против плохого обобщения, которое составляет еще более общую ошибку. Если люди легко впадают в ошибки, делая аргументацию от одного общего положения к другому, то они будут ошибаться еще легче в истолковании наблюдений, сделанных ими самими или другими людьми. Ум невоспитанный нигде не оказывается так безнадежно неспособным, как в извлечении надлежащих общих выводов из своего опыта. И даже умы воспитанные, когда все их воспитание совершается на одном специальном предмете и не простирается на общие принципы индукции, действуют правильно только тогда, когда есть готовые случаи проверить их заключения фактами. Талантливые люди науки, решаясь судить о предметах, где у них нет фактов для проверки суждений, часто выводили такие заключения или делали такие обобщения из своего экспериментального знания, которые всякая здравая теория индукции нашла бы крайне неосновательными. До такой степени справедливо то, что одна практика, даже хорошая практика, бывает недостаточна без принципов и правил. Лорд Бакон видел, что правила необходимы, и понимал до значительной степени их истинный характер, — и в этом состоит большая его заслуга. Недостатки его понимания были недостатки, неизбежные в то время, когда индуктивные науки стояли еще на самой ранней ступени своего развития и когда еще не были сделаны высочайшие усилия человеческого ума в этом направлении. Как ни было недостаточно понятие Бакона об индукции и как ни быстро практика переросла его, но сколько-нибудь значительное усовершенствование в ее теории сделано было только в одно или два последних поколения, — и очень много сделано было вследствие толчка, данного двумя из многих замечательных людей, украшавших шотландские университеты, — Дюгальдом Стьюартом и Броуном.

Я сделал весьма неполный и общий обзор воспитательной пользы, происходящей от обучения в более совершенных науках и в правилах для надлежащего употребления умственных способностей, правилах, которые внушила практика этих наук. Есть другие науки, которые находятся в менее развитом положении и

требуют всех сил ума в зрелые годы, но начальное изучение которых может быть с пользой сделано в университетских занятиях, так как некоторое знакомство с ними очень важно и для тех даже, кто вероятно никогда не пойдет в них дальше. Первая из них есть физиология, наука о законах органической и животной жизни и особенно об устройстве и отправлениях человеческого тела. Было бы нелепо утверждать, чтобы глубокое знание этого трудного предмета можно было приобретать в молодости, в составе общего воспитания. Но знакомство с основными истинами физиологии есть одно из тех приобретений, которые не должны быть исключительной принадлежностью специальной профессии. Важность такого знания для ежедневной жизни объяснилась для всех нас из санитарных рассуждений последних годов. Между нами едва ли есть человек, которому бы, при каком-нибудь авторитетном положении, не пришлось составить себе мнение и принять участие в деле о санитарных предметах. И эта важность понимания настоящих условий здоровья и болезни — важность знания того, как приобретать и сохранять то здоровое состояние тела, которое, раз потерянное, так часто не может быть восстановлено самым отяготительным и дорогим медицинским пользованием, — должна бы обеспечить в общем образовании место для главных правил гигиены и даже для некоторых правил практической медицины. Для тех, кто стремится к высокому умственному образованию, изучение физиологии имеет еще большие права на внимание и, в настоящем успехе высших изучений, составляет положительную необходимость. Физиология дает такую практику в изучении природы, какой не дает в этом роде никакая другая физическая наука, и эта практика есть лучшее введение к трудным вопросам политики и социальной жизни. Научное воспитание, независимо от профессиональных целей, есть только приготовление к правильному суждению о человеке и об его потребностях и интересах. Но для этой окончательной цели, которую по преимуществу называют настоящим изучением человечества, физиология из всех наук служит всего больше, потому что она стоит к ней всего ближе. Ее предмет есть уже Человек: самое сложное и многостороннее существо, которого свойства не независимы от обстоятельств и не неизменны от поколения к поколению, подобно свойствам эллипсиса и гиперболы, серы и фосфора, но бесконечно разнообразны, способны к бесконечному видоизменению искусством и случаем, переходя постепенно самыми тонкими оттенками от одного в другое и действуя друг на друга тысячью способов, так что эти существа редко могут быть уединяемы и наблюдаемы отдельно. С трудностями изучения устроенного таким образом существа физиолог уже знаком, и знаком только один из научных исследователей. Какого бы мы ни держались понятия о человеке как духовном существе, одна часть его природы гораз-

до больше похожа на другую, чем которая-нибудь из них похожа на что-нибудь иное. Те неблагоприятные условия, при которых мы изучаем природу в органическом мире, очень похожи на те, которые затрудняют изучение нравственных и политических явлений: наши средства делать опыты почти так же ограничены, между тем как чрезвычайная сложность фактов делает выводы общего умозрения крайне нетвердыми, вследствие обширного множества обстоятельств, принимающих участие в определении каждого результата. И однако же, несмотря на эти препятствия, в физиологии оказалось возможным прийти к значительному числу достоверных и важных истин. Поэтому физиология есть прекрасная школа, в которой можно научиться средствам побеждать подобные затруднения и в других предметах. Кроме того, физиология в первый раз вводит нас в некоторые понятия, которые играют чрезвычайно большую роль в нравственных и социальных науках, но которые не встречаются вовсе в науках о неорганической природе. Такова, например, идея предрасположения и идея предрасполагающих причин, в отличие от причин возбуждающих. Предрасположение оказывает огромное влияние на действие всех нравственных сил; без этого элемента невозможно объяснить самых обыкновенных фактов истории и социальной жизни. Физиология есть также первая наука, в которой мы узнаем влияние привычки — тенденции известной вещи случаться вновь потому только, что она уже случалась прежде. Из физиологии также мы приобретаем самое ясное понятие о том, что разумеется под развитием. Рост растения или животного из первого зародыша есть типический образчик явления, которое управляет всем ходом истории человека и общества — усиление отправления, через расширение и дифференцирование структуры внутренними силами. Я не могу входить в предмет еще дальше; мне достаточно сделать несколько указаний, которые могут быть зародышем дальнейшей мысли в вас самих. Те, кто стремится к высшим умственным приобретениям, могут быть уверены, что всего меньше они могли бы считать потерянным то время, которое они употребят на ознакомление с методами и главными понятиями науки об организации и жизни. :45

Физиология своим высшим пределом касается до психологии или философии Духа, и не поднимая каких-нибудь спорных вопросов о границах между Материей и Духом, мы можем сказать, что за нервами и мозгом признается такая тесная связь с операциями духа, что человек, изучающий эти последние, не может обойтись без значительного знания первых. В шотландском Университете едва ли нужно распространяться о важном значении психологии, потому что она всегда была изучаема здесь с блестящим успехом. Почти все, что сделано было на этих островах для усовершенствования этой науки со времен Локка и Бер-

келея до весьма недавнего времени, — и многое из этого даже в настоящем поколении, — исходило от шотландских писателей и шотландских профессоров. Психология, в сущности, есть просто знание законов человеческой природы. Если что-нибудь заслуживает изучения человека, то это конечно природа его собственная и других людей; и если только ее следует изучать, ее следует изучать научным образом, так, чтобы достигнуть основных законов, которыми утверждается и управляется все остальное. Относительно годности этого предмета для общего воспитания надобно сделать различие. Есть известные замеченные законы наших мыслей и наших чувств, которые утверждаются на экспериментальных данных, и эти законы, будучи раз поняты, доставляют нить к истолкованию многого, что мы сознаем в самих себе и наблюдаем друг в друге. Таковы, например, законы ассоциации идей. Психология, насколько она состоит из таких законов, — я говорю о самих законах, а не об их спорных применениях, — есть наука такая же положительная и несомненная, как химия, и в этом смысле удобна и для преподавания. Но когда мы переступаем границы этих признанных истин и переходим к вопросам, составляющим до сих пор предмет споров между различными философскими школами, — насколько высшие отправления духа могут объясняться ассоциацией, насколько мы должны допустить другие первоначальные принципы, какие способности духа простые, какие сложные, и что такое сложность этих последних, — в особенности, когда мы пускаемся в море собственно так называемой метафизики и, например, исследуем, составляют ли время и пространство реальные сущности, как говорит об этом наше непосредственное впечатление, или это формы нашей чувствительной способности, как утверждает Кант, или же это сложные идеи, порождаемые ассоциацией; составляют ли материя и дух представления, чисто относительные к нашим способностям, или факты, существующие *per se*, и в последнем случае, каково свойство и границы нашего знания об них; свободна ли человеческая воля или она определяется причинами, и в чем заключается реальное различие между этими двумя учениями, — все это предметы, о которых все еще расходятся во мнениях наиболее мыслящие люди и те, кто всего больше занимались изучением этих предметов, и нельзя ни ожидать, ни желать, чтобы люди, которые не посвящают себя специально высшим областям умозрения, употребляли много своего времени на попытки дойти до дна этих вопросов. Но в общее высшее воспитание должно входить, как часть, знание того, что эти споры существуют и знание в общих чертах того, что было сказано об этих предметах с той и другой стороны. Человеку поучительно знать и успехи и неудачи человеческого ума, его совершенные и несовершенные приобретения; знать и те вопросы, которые были уже окончательно раз-

решены, и те, которые еще остаются открытыми. Для многих может быть достаточно очень общего обзора этих спорных предметов, но система воспитания не предназначается только для многих, она должна воодушевить стремления и помочь усилиям тех, кому предназначено стать в мышлении выше толпы, и для этих людей едва ли какая-нибудь дисциплина могла бы сравниться с той, какую доставляют эти метафизические контroversии. Потому что в сущности, это — вопросы об оценке данных; об окончательных основаниях веры; об условиях, нужных для оправдания самых близких и глубоких наших убеждений; и о действительном смысле и значении слов и выражений, которые мы употребляли с детства, как будто мы понимали в них все, которые являются даже при основании человеческого языка и о которых однако никто кроме метафизика не отдавал себе полного отчета. Каковы бы ни были философские мнения, к принятию которых может повести нас изучение этих вопросов, никто не оставлял исследования их без окрепшей силы ума, без увеличенных требований точности мысли и языка и без более внимательной и строгой оценки свойства доказательств. Никогда не было предмета, который бы служил таким отличным изоощрением умственных способностей, как контroversия Беркедея. Даже и теперь для студента нет чтения более полезного (я ограничиваюсь только английскими писателями, и несмотря на то, что многие из их умозрений уже устарели), чем Гоббс и Локк, Рейд и Стьюарт, Юм, Гаргли и Броун, — с условием, чтобы эти великие мыслители читались не пассивно, как учителя, которым нужно следовать, а активно, как писатели, дающие материал и возбуждение для мысли. Если перейти к нашим современникам, тот, кто изучит сэра Вильяма Гамильтона и вашего оплакиваемого Феррьеера, как замечательных представителей одной из двух великих философских школ, и достойного профессора соседнего университета, профессора Бэна, вероятно величайшего из живых авторитетов в другой, — тот приобрел практику в самых действительных методах философского исследования, в применении к самым трудным предметам, что составляет недурное приготовление ко всяким умственным трудностям, какие только придется ему когда-нибудь разрешать.

В этом кратком очерке полного научного воспитания, я ничего не сказал о прямом обучении в том, что составляет главную из всех целей, к которым должно готовить нас умственное воспитание, — в упражнении мысли на великих интересах людей как нравственных и общественных существ — в этике и политике, в обширнейшем смысле. В существующем положении человеческого знания эти вещи не составляют предмета науки, всеми допущенного и принятого. Политике нельзя научиться раз навсегда, из учебника или из преподавания учителя. То, чему надо учиться в этих предметах, есть — быть своими собственными учи-

телями. Это предмет, где у нас нет учителя, которому бы мы могли следовать; каждый должен исследовать сам и составлять независимое суждение. Научная политика состоит не в том, чтобы иметь ряд готовых заключений, которые бы могли прилагаться безразлично везде, а в том, чтобы привести в действие ум в научном духе, чтобы он открывал в каждом примере истины, приложимые к данному случаю. И теперь, едва ли два человека делают это одинаково. В этом предмете воспитание не имеет права рекомендовать какой-нибудь ряд мнений как основанный на авторитете установившейся науки. Но оно может доставить изучающему материалы для его собственной работы, и помогает ему пользоваться ими. Оно может познакомить его с лучшими умозрениями об этом предмете, сделанными с различных точек зрения; ни одно из них не окажется полным, но каждое будет заключать в себе соображения, действительно идущие к делу и которые действительно нужно принять в расчет. Воспитание может также показать нам главные факты, имеющие прямое отношение к предмету, именно, различные роды и степени цивилизации, существующие в человечестве, и отличительные особенности каждой. Это и есть истинная цель исторических занятий, как они должны происходить в университете. Основные факты древней и новейшей истории должны быть известны студенту из его частного чтения: если такого знания у него нет, он может приобрести его этим чтением здесь. Профессор истории будет говорить только о смысле этих фактов. Его обязанность состоит в том, чтобы помочь студенту извлекать из истории то, в чем заключаются главные различия между человеческими существами и между общественными учреждениями, в разное время и в разных местах; помогать ему рисовать себе человеческую жизнь и человеческие понятия о жизни, каковы они были на различных ступенях человеческого развития; помогать различать между тем, что остается одним и тем же во все века, и тем, что прогрессивно, и составлять некоторое начальное понятие о причинах и законах прогресса. Все эти вещи до сих пор еще понимаются весьма несовершенно даже наиболее философски рассуждающими исследователями и совершенно неудобны для догматического преподавания. Цель — обратить на них внимание изучающего, внушить ему интерес к истории, чтобы она представлялась ему не простым рассказом, но как цепь причин и действий, еще развертывающаяся перед его глазами и исполненная важными результатами для него самого и для его потомства; как развитие великого эпического или драматического действия, которое оканчивается счастьем или несчастьем, возвышением или унижением человеческой расы; как беспрестанное столкновение между добрыми и злыми силами, где получает свое место каждый акт, совершенный кем-нибудь из нас, как ни мало значения имеем мы сами;

как столкновение, в котором не может не участвовать даже самый ничтожный из нас, где всякий, кто не помогает справедливому делу, помогает несправедливому, и где никто из нас не может избежать ответственности за свою долю в этом, будет ли эта доля велика или мала и будут ли ее действительные последствия видны или в главном они останутся невидны. Хотя воспитание не может вооружить и приготовить своих питомцев к битве жизни какой-нибудь полной философией политики или истории, но оно может дать им много положительного обучения, имеющего прямое отношение к обязанностям гражданина. Они должны узнать главные черты гражданских и политических учреждений своего отечества и, более общим образом, должны познакомиться с учреждениями более передовых из других цивилизованных наций. Те отрасли политики или законов социальной жизни, где есть собрание фактов или мыслей, достаточно исследованных и методически изложенных, чтобы составить начало науки, должны быть изучаемы *ex professo*. Одна из главных между этими отраслями есть Политическая Экономия: объяснение источников и условий богатства и материального благосостояния для сложных собраний человеческих существ. Это изучение ближе, чем какой-нибудь другой предмет политики, подходит к характеру науки, в том смысле, в каком мы даем это имя физическим наукам. Мне нет надобности распространяться о важных уроках, какие доставляет эта наука для руководства в жизни или для оценки законов и учреждений, или о необходимости знать все, чему она может научить, для того чтобы иметь истинные понятия о ходе человеческих дел или составлять планы для их улучшения, планы, выдерживающие проверку. Те же люди, которые кричат против Логики, обыкновенно предостерегают вас и против Политической Экономии. Она бесчувственна, скажут они вам. Она признает неприятные факты. Что касается до меня, то самая бесчувственная вещь, какую я знаю, есть закон тяготения: этот закон без церемоний ломает шею прекраснейшему и любезнейшему человеку, если этот человек забудет на минуту сообразоваться с ним. Ветер и волны также очень бесчувственны. Будете ли вы советовать человеку, отправляющемуся в море, отвергать ветер и волны — или посоветуете ему воспользоваться ими и найти средства беречься от их опасностей? Мой совет вам — изучать великих писателей о Политической Экономии и твердо держаться того, что вы найдете в них истинного, и будьте уверены, что если вы уже не были прежде себялюбивы и жестки сердцем, то Политическая Экономия не сделает вас такими. Не меньше Политической Экономии важно изучать так называемую Юриспруденцию — общие принципы законов, общественные необходимости, которым законы должны удовлетворять, черты, общие всем системам законов, и их различия, условия хорошего законодательства, над-

лежащий способ построения легальной системы и лучшее устройство судов и легальной процедуры. Эти вещи составляют не только главную долю трудов правительства, но и жизненный интерес каждого гражданина, и их усовершенствование представляет обширное поприще для энергии каждого должным образом приготовленного ума, который ставит предметом своего честолюбия содействовать | лучшему состоянию человечества. Притом, писатели нашего и весьма недавнего времени доставили к этому удивительные пособия. Во главе их стоит Бентам, без сомнения величайший учитель, какой когда-либо посвящал труд жизни на объяснение закона и который тем больше понятен для не-специалистов, что его манера состоит в том, что он строит предмет от самого его основания в фактах человеческой жизни и внимательным рассмотрением целей и средств показывает, чем бы мог и должен быть закон, в печальном контрасте с тем, что он есть. За ним следовали другие просвещенные юристы с двоякого рода трудами, типом которых я могу взять два произведения, одинаково изумительные для своего времени. М-р Аустин, в своих «Чтениях о Юриспруденции», берет своим основанием римское право — самую выработанную и последовательную систему, какую только показала нам история в настоящем действии и которой множество замечательных умов старались придать полную гармонию. Он выбирает из этой системы принципы и различения, способные к общему применению, и употребляет силы и ресурсы чрезвычайно точного и аналитического ума на то, чтобы дать этим принципам и различениям философскую основу, утверждаемую на всеобщем разуме человечества, а не на одной технической условности. М-р Мэн, в своем трактате о Древнем Законе в его отношениях к Новейшей Мысли, показывает из истории закона и из того, что известно о первобытных учреждениях человечества, происхождение многого, что продолжалось до сих пор и имеет твердую опору и в законах, и в понятиях новейших времен, указывая, что многие из этих вещей никогда не происходили из разума, но составляют остатки учреждений варварского общества, более или менее видоизмененные цивилизацией, но сохраненные постоянством идей, которые были порождением этих варварских учреждений и пережили своего родителя. На путь, открытый Мэном, вступили потом другие, с новыми объяснениями влияния устаревших идей на новейшие учреждения и устаревших учреждений на новейшие идеи, — действия и противодействия, которые, во | многих из важнейших явлений :51 жизни, продолжают варварство в смягченной форме, где постоянно принимаются за требования природы и за необходимость жизни такие вещи, которые, будучи известны вполне, оказались бы происшедшими из искусственных комбинаций общества, давно оставленных и осужденных. :52

К этим предметам изучения я прибавил бы Международное Право, которое, я решительно думаю, должно бы было преподаваться во всех университетах и входить во всякое высшее общее образование. Необходимость в нем далеко не ограничивается дипломатами и юристами; она простирается на каждого гражданина. Так называемое Право Народов не есть собственно право, а часть этики — собрание нравственных правил, принятых за авторитет цивилизованными государствами. Правда, что эти правила не имеют и не должны иметь вечной обязательности, но изменяются и должны более или менее изменяться от одного века до другого по мере того, как делается более просвещенной совесть наций и изменяются требования политического общества. Но в своем начале эти правила, по большей части, были и еще остаются применением правил честности и человеколюбия к сношениям государств между собою. Они были введены нравственными понятиями человечества или чувством общего интереса с целью смягчить преступления и страдания военного положения и удержать правительства и нации от несправедливого или нелестного образа действий между собою во время мира. Так как каждая страна стоит в многочисленных и разнообразных отношениях к другим странам мира, и многие, в том числе и Англия, имеют над некоторыми из них положительный авторитет, то знание установленных правил международной нравственности есть существенная обязанность каждой нации и потому каждого лица, которое участвует в образовании нации и которого голос и чувства составляют часть того, что называется общественным мнением. Пусть никто не успокоивает свою совесть тем заблуждением, что он не сделает ничего вредного, если не будет принимать участия и не составит себе никакого мнения. Дурным людям ничего больше не нужно для достижения своих целей, как то, чтобы хорошие люди смотрели и ничего не делали. Тот человек не может назваться хорошим, который без протеста допускает делать зло от его имени и теми средствами, доставлению которых он содействует, — допускает потому, что не хочет потрудиться подумать о предмете. Будет ли образ действий нации, как нации, и внутри ее самой и в отношениях к другим, себялюбивый, испорченный и тираннический или рациональный и просвещенный, справедливый и благородный, — это зависит от того, есть ли в обществе или нет привычка обращать внимание и вдумываться в общественные дела, и от степени сведений и здравого суждения об этих делах, существующей в этом обществе.

В школах и университетах может быть сделано только небольшое начало в этих высших предметах изучения, но и это начало имеет чрезвычайную важность, пробуждая интерес к этим предметам, побеждая первые трудности и приучая ум к тому роду упражнения, какого требуют эти занятия, порождая жела-

ние сделать дальнейшие успехи и направляя изучающко на лучшие пути и к лучшим пособиям. Насколько мы приобретаем эти отрасли знания, настолько мы научаемся или получаем возможность научиться нашим обязанностям и нашему делу в жизни. Впрочем, такое знание есть только половина дела воспитания; остается еще, чтобы мы хотели и решились привести в дело то, что мы знаем. Тем не менее, знание истины есть уже большой шаг к тому, чтобы расположить нас действовать на ее основании. Мы имеем естественное желание исполнять то, что мы ясно видим и живо понимаем. «To see the best, and yet the worst pursue» (видеть лучшее, и все-таки стремиться к худшему) — есть возможное, но вовсе не обыкновенное состояние ума; те, кто делают дурное, обыкновенно сначала позаботились остаться добровольными невеждами относительно хорошего. Они заставили молчать свою совесть, а не оказывают ей неповиновения сознательно. Если вы возьмете средний уровень человеческого ума в молодости, прежде чем цели, выбранные им в жизни, дали ему какое-нибудь дурное направление, вы обыкновенно найдете, что он желает хорошего, справедливого и служащего для блага всех; и если воспользоваться, как следует, этой порой, чтобы насадить в нем знание и дать ему воспитание, которое бы сделало правильность суждения более привычной для него, чем софизм, то этим воздвигнута будет серьезная преграда против нападений себялюбия и обмана. Но все-таки воспитание, которое образует только ум, а не волю, остается очень несовершенно. Никто не может обходиться без воспитания, направленного положительно и на нравственную, как и на умственную часть его существа. Такое воспитание, когда оно бывает прямое, есть или нравственное, или религиозное, и эти последние могут быть понимаемы или как отдельные вещи, или как разные стороны одной и той же вещи. Предмет, который мы здесь рассматриваем, есть не воспитание в целом, а воспитание школьное, и мы должны иметь в виду неизбежные ограничения того, что могут сделать школы и университеты. Они не имеют возможности брать на себя воспитание нравственное и религиозное. Нравственное и религиозное воспитание состоит в образовании чувств и ежедневных привычек, а это вообще выходит из сферы публичного воспитания и недоступно его контролю. То нравственное и религиозное воспитание, какое мы действительно получаем, дает нам семья, и это воспитание дополняется и видоизменяется, иногда к лучшему, иногда к худшему, обществом и теми мнениями и чувствами, какими мы здесь окружены. Нравственное и религиозное влияние, которое может иметь университет, заключается не столько в каком-нибудь положительном обучении, сколько в господствующем тоне места. Всему, чему учит университет, он должен бы учить, как проникнутый чувством обязанности; он должен бы представлять всякое знание

главным образом как средство к облагорожению жизни, которое должно служить для двойной цели: делать каждого из нас практически полезным для других людей и возвышать характер самого рода, давая возвышенность и достоинство нашей природе. Ничто не распространяется так заразительно от учителя к воспитаннику, как возвышенность | чувства: студенты много и много раз :55
извлекали из живого влияния профессора презрение к мелким и себялюбивым целям и благородное честолюбие оставить мир лучшим, чем они нашли его, — чувства, которые они уносили с собой на всю жизнь. В этих отношениях, наставники всякого рода имеют единственную и особенную возможность делать успешно то, что всякий человек, живущий с себе подобными и имеющий к ним какие-нибудь отношения, должен бы был чувствовать себя обязанным делать, по мере своих способностей и средств. То, что составляет в этих предметах специальность университета, главным образом принадлежит здесь, как и во всем его деле, к умственной области. Университет существует для той цели, чтобы всякому приходящему поколению открывать, насколько допускают условия случая, накопленные сокровища мысли человечества. Необходимой частью этой обязанности должно быть то, чтобы он сообщал ему, что думали о великих предметах нравственности и религии человечество вообще, его отечество и лучшие и умнейшие индивидуальные люди. В университете должно быть, и в большей части университетов и есть, профессорское преподавание нравственной философии; но я желал бы, чтобы это преподавание было несколько иного типа, чем мы обыкновенно встречаем. Я желал бы, чтобы оно было более объяснительным, менее полемическим и особенно менее догматическим. Учащийся должен быть ознакомлен с главными системами нравственной философии, какие существовали и практически действовали в человечестве, и должен узнать, что может быть сказано за каждую: система Аристотелевская, Эпикурейская, Стоическая, Иудейская, Христианская, в разных способах ее толкования, которые отличаются один от другого почти столько же, сколько учения упомянутых древнейших школ. Он должен быть ознакомлен с разными определениями истинного и ложного, хорошего и дурного, какие полагались в основание этики: общая польза, естественная справедливость, естественные права, нравственное чувство, принципы практического разума, и так далее. | Среди всех этих предме- :56
тов, дело учителя состоит не столько в том, чтобы принять известную сторону и твердо сражаться за кого-нибудь одного против остальных, сколько в том, чтобы направлять их все к установлению и сохранению правил поведения, наиболее выгодных для человечества. Из этих систем нет ни одной, которая бы не имела своей хорошей стороны, ни одной, из которой бы не могли чему-нибудь научиться приверженцы другой, ни одной, которая бы не

была создана пламенным, хотя быть может и не всегда ясным, пониманием каких-нибудь важных истин, которые составляют опору системы и пренебрежение или слишком низкая оценка которых в других системах есть их характеристический недостаток. Система, которая в целом может быть ошибочна, все-таки имеет свое значение, пока она не побудила человечество обратить достаточное внимание на часть истины, которую она внушала. Учитель этики делает свое дело всего лучше тогда, когда указывает, каким образом каждая система может быть усилена даже на своем собственном основании, если больше принять в расчет истины, представленные в других системах полнее и настоятельнее. Я не говорю этим, что он должен поощрять существенно скептический эклектизм. Если бы он ставил каждую систему в наилучшем свете, к какому она способна, и старался из всех их извлекать наиболее благотворные последствия, совместные с их природой, я несколько не запрещал бы ему доказывать всеми его аргументами свое личное предпочтение какой-нибудь одной из их числа. Они не могут быть все верны, хотя те, которые ложны в смысле целых теорий, могут заключать в себе частные истины, необходимые для полноты истинной теории. Но и в этом предмете, еще больше даже чем в других, о которых я упоминал, дело учителя — не навязывать свое собственное суждение, а сообщать сведения и дисциплинировать суждение его воспитанника.

Эта же самая нить, если мы не упустим ее, будет руководить нас в том лабиринте разноречивых мыслей, в который мы вступаем, когда касаемся великого вопроса об отношении воспитания к религии⁶. Как я уже заметил, единственное действительно успешное религиозное воспитание есть родительское — воспитание в семье и в детстве. Все, что в состоянии сделать общественное и публичное воспитание, кроме общего господствующего тона почтения и обязанности, ограничивается почти только сообщением сведений, которые оно дает, но это чрезвычайно важно. Я не буду входить в вопрос, который разбирался с такой резкостью в прошлом и в настоящем поколении, о том, должно ли быть вообще во всех университетах и публичных школах религиозное преподавание, так как религия есть предмет, относительно которого мнения людей расходятся всего больше. Мне кажется, что в этой контрверсии ни одна из спорящих сторон не освободилась достаточно от старого понятия о воспитании, что оно заключается в догматическом авторитетном натверживании того, что преподаватель считает истинным. Почему же было бы невозможно доставлять уму учащегося сведения величайшей важности о

⁶ Считаю нужным сделать оговорку, что мнения Милля, хотя и несогласные с принимаемыми у нас понятиями, передаются здесь только как образчик английских воззрений, который может быть интересен для любознательного читателя. (Пр. изд.)

предметах, относящихся к религии; знакомить его с такой многозначительной частью национальной мысли и умственного труда прошлых поколений, как предметы религии, не обучая его догматически учениям какой-нибудь отдельной церкви или секты? Христианство есть историческая религия, и тот род религиозного обучения, который кажется мне наиболее свойственным Университету, есть изучение церковной истории. Если даже в предметах научной несомненности преподавание должно иметь целью столько же показывать, как результаты были получены, как и сообщать самые результаты, то тем больше так должно быть в предметах, где господствует чрезвычайное разнообразие мнений между людьми равно талантливыми и употреблявшими равный труд для достижения истины. Это разнообразие должно бы само по себе служить предостережением для добро|совестного преподавателя, что он не имеет права авторитетно налагать своих мнений на юный ум. Его преподавание должно бы совершаться не в духе догматизма, а в духе исследования. К учащемуся надо обращаться не так, как будто бы религия была уже выбрана для него, но как к человеку, который должен будет выбрать ее сам. Различные церкви, господствующие и негосподствующие, совершенно компетентны в той задаче, которая им свойственна, — преподавать, сколько необходимо, свои учения своему вырастающему поколению. Университету собственно принадлежит иная задача: не авторитетно говорить, как мы должны верить, и не заставлять нас принимать известную веру как обязанность, но давать нам сведения и обучение и помогать нам образовать свою веру способом, достойным разумных существ, ищущих истины всеми силами и желающих знать все затруднения, с тем, чтобы иметь возможность найти или узнать наиболее удовлетворительный способ их разрешения. Обширная важность этих вопросов — великие результаты относительно нашего способа действий в жизни, зависящие от нашего выбора той или другой конфессии, — составляет самое сильное основание, почему мы не должны доверяться нашему суждению, когда оно было составлено при незнании данных, и почему мы не должны соглашаться быть ограниченными каким-нибудь односторонним преподаванием, которое сообщает нам знание того, что один частный учитель или собрание учителей считают верным учением и здравым аргументом, и ничего больше.

Я не утверждаю, что университет, стесняющий свободную мысль и исследование, должен быть совершенно неудачен, потому что самые свободные мыслители часто бывали воспитаны в наиболее рабских учебных заведениях. Люди, произведшие великую реформу, учились в римско-католических университетах; скептические философы Франции большею частью воспитаны были иезуитами. Человеческий ум иногда всего необуздан-

нее возбуждается в одном направлении через меру ревностными и настойчивыми попытками завлечь его на противоположное. Но вести людей насильно даже к хорошему чрезмерностью дурного не есть то, к чему предназначаются университеты. Университет должен быть местом свободного мышления. Чем старательнее он исполняет свой долг в других отношениях, тем несомненное, что он исполнит свое назначение здесь. Старые английские Университеты, в настоящем поколении, делают лучшее дело, чем делали прежде, еще на людской памяти, преподавая обыкновенные предметы своей программы, и одним из последствий было то, что тогда как прежде они главным образом существовали по-видимому для подавления независимой мысли и для стеснения индивидуального ума и совести, теперь они стали великими центрами свободного и мужественного исследования, для высших и профессиональных классов, к югу от Твида. Люди, стоящие во главе этих древних семинарий, вспомнили наконец, что стать враждебно против свободного употребления ума значит для них отказаться от своей лучшей привилегии быть его руководителями. Молодому и еще не вполне образовавшемуся уму свойственно, по крайней мере в первое время, скромное уважение к соединенному авторитету специальных ученых, но когда соединенного авторитета нет — когда специальные ученые так разделены и рассеяны, что почти каждое мнение может хвастаться каким-нибудь высоким авторитетом и никакое мнение не может иметь притязаний на всеобщий авторитет; когда поэтому все не может казаться крайне невероятным, что человек, пользующийся своим умом свободно, может увидеть основание переменить свое прежнее мнение, тогда, что бы вы ни делали, во всяком случае оставляйте свои умы открытыми: не выменивайте свободы своей мысли. Те из вас, которые предназначаются для клерикальной профессии, без сомнения, настолько обязываются к известному количеству учений, что если бы они перестали принимать их, они были бы не в праве оставаться в том звании, в котором им пришлось бы учить неискренно. Но воспользуйтесь вашим влиянием, чтобы сколько возможно уменьшить число этих учений. Нехорошо, чтобы люди были подкупаемы сопротивляться убеждению — затыкать уши против возражений или, если возражения находят путь, продолжать высказывать полную и неколебимую веру, когда их уверенность уже потрясена. Или, если люди честно высказывают, что они изменили некоторые из своих религиозных мнений, нехорошо так же, чтобы их честность непременно удаляла их от участия в духовном образовании нации, к которому они могут быть удивительно способны. Тенденция нашего века, по обе стороны старой Границы⁷, идет к осла-

⁷ Границы между Шотландией и Англией.

блению формальностей и менее строгому изложению конфессиональных пунктов. Это самое обстоятельство, делающее границы ортодоксальности менее определенными и принуждающее каждого самого проводить себе эту черту, есть затруднение для совести многих людей. Но я соглашаюсь с теми духовными лицами, которые предпочитают оставаться в национальной церкви, когда могут принимать ее статьи и конфессии в каком-нибудь смысле или в каком-нибудь толковании, согласном с обыкновенным честным убеждением, будет ли это толкование общепринятым или нет. Если бы нужно было оставлять церковь всем, кто делает обширные и свободные построения на ее конфессиональных пунктах, или кто желает, чтобы эти пункты были расширены, то национальная заботливость о религиозном обучении и исполнении обрядов осталась бы совершенно в руках тех, кто принимает формы в самом узком и чисто буквальном смысле, тех, которые если и не бывают непременно сами ханжами, то подвергаются большой невыгоде иметь ханжей своими союзниками, и которые, как ни велики могут быть их достоинства, — а они часто бывают очень велики, — все-таки не были бы самыми удобными людьми для исправления церкви, если бы это исправление было нужно. Поэтому, если не будет дерзостью с моей стороны предлагать свои советы в подобных вещах, я сказал бы, чтобы пусть все оставались в церкви, кто может по совести. Церковь гораздо лучше исправляется изнутри, чем извне. Почти все знаменитые реформаторы в церковных делах были прежде духовными, но они не думали, чтобы их духовная профессия была несовместна с их стремлением к реформе. Правда, они кончали свои дни большей частью вне той церкви, в которой родились, но это было потому только, что эти церкви, в дурной час для себя, отвергли их. Они же вовсе не считали себя обязанными удаляться из нее. Они думали, что имеют еще лучшее право оставаться в ее лоне, чем те, которые изгоняли их. **:61**

Я сказал теперь, что считал нужным сказать о двух родах воспитания, которое должна исполнять система школ и университетов — о воспитании умственном и нравственном: о знании и развитии познающей способности и о совести и развитии нравственной способности. Это — два основные ингредиента человеческой культуры, но они не изчерпывают ее вполне. Есть еще третий отдел, хотя и подчиненный, зависящий от первых двух и прямо низший, чем они, но тем не менее необходимый для полноты человеческого существа; я разумею эстетическую отрасль, культуру, которая совершается через посредство поэзии и искусства и может быть определена как воспитание ощущений и изучение прекрасного. Этот отдел вещей заслуживает быть рассмотренным в более серьезном свете, чем обыкновенно делается в нашей стране. Только в последнее время, и главным образом вследствие по-

верхностного подражания иностранцам, мы начали употреблять слово Искусство само по себе и говорить об Искусстве, как мы говорим о Науке, Правительстве или Религии; обыкновенно мы говорили об Искусствах и более специфически об Изыщных Искусствах, и под ними разумелись обыкновенно даже только две формы искусства: Живопись и Скульптура, о которых обеих мы, как народ, нисколько не заботились и которые даже между более образованными из нас считались почти что только отраслями домашней орнаментации, родом изящного обойного мастерства. Самое название «изыщных искусств» вызывало понятие чего-то мелкого и легкого, понятие больших трудов, потраченных на пустяки, — на нечто, отличавшееся от другого, более дешевого и обыкновенного искусства производить красивые вещи, преимущественно тем, что было более трудно и давало фатам случай хвастаться своим интересом к нему и способностью толковать о нем. Это понятие распространилось в немалой степени, хотя и не вполне, даже на поэзию, царицу искусств, которая в Великобритании едва ли включалась в их число. Правда, нельзя положительно сказать, чтобы на поэзию мало обращалось внимания; мы гордились своим Шекспиром и Мильтоном, и по крайней мере в один период нашей истории, в период королевы Анны, считалось высоким литературным достоинством — быть поэтом, но поэзию едва ли принимали серьезно или давали ей много значения иначе, как только в смысле забавы или возбуждения, превосходство которых над другими главным образом состояло в том, что этот род забавы служил для более утонченного разряда умов. Однако же знаменитое изречение Флетчера, «Let who will make the laws of a people if I write their songs», могло бы научить нас, какого мы не ценили великого орудия для действия на человеческое сердце. Было бы трудно представить себе, чтобы, например, «Rule Britannia» или «Scots wha hae» не имели постоянного влияния в высшей области человеческого характера; некоторые песни Мура сделали для Ирландии больше, чем все речи Граттана, а песни — далеко не высшая или сильнее действующая форма поэзии. Взгляды и ощущения других стран относительно этих вещей были не только непонятны, но даже невероятны для обыкновенного англичанина. Видеть, что Искусство, по крайней мере в теории, ставится совершенно наравне с Философией, Образованием и Наукой — как вещь, занимающая столько же важное место между деятельными силами цивилизации и между элементами человеческого достоинства, — видеть, что даже живопись и скульптура считаются великими общественными силами, и искусство известной страны считается чертой ее характера и состояния, мало уступающей в важности ее религии или ее правлению, — все это не изумляло и не тревожило англичан только потому, что для них было слишком странно представить это себе или, действи-

тельно, находить это возможным, и коренная разница понятий об этом предмете между британским народом и народами Франции, Германии и вообще Континента, есть одна из причин той| :63

чрезвычайной неспособности понимать друг друга, какая существует между Англией и остальной Европой, между тем как она далеко не существует в подобной степени между одним народом континентальной Европы и другим. Это можно приписывать двум влияниям, главным образом определявшим британский характер со времен Стюартов: коммерческой деятельности, гонящейся только за деньгами, и религиозному пуританству. Эта деятельность требовала для себя всех способностей ума, и производилась ли она по обязанности или по страсти к прибыли, считала потерей времени все, что не вело прямо к цели; пуританство считало всякое чувство человеческой природы, кроме страха и уважения к Богу, сетями врага, если не участием в грехе, и если не осуждало, то холодно смотрело на образование чувств. Другие причины произвели другие последствия у континентальных наций, у которых даже и теперь можно заметить, что добродетель и благосклонность считаются большей частью делом чувства, между тем как у англичан они считаются почти исключительно делом обязанности. Поэтому, род преимущества, которое мы имели над многими другими странами относительно нравственности — я не уверен, что мы не теряем его, — состоял в большей чувствительности совести. В этом мы имели вообще положительное превосходство, хотя превосходство главным образом отрицательное, потому что совесть у большей части людей есть сила, которая действует преимущественно задерживающим образом, — действует больше тем, что останавливает нас от какого-нибудь очень дурного дела, а не тем, что направляет общий ход наших чувств и желаний. Один из обыкновеннейших наших типов есть тип человека, все честолюбие которого — эгоистическое; у которого нет в жизни высшей цели кроме того, чтобы достичь богатства и положения в свете для себя и своего семейства; который никогда не помышляет о том, чтобы можно было стремиться к благу других людей или соотечественников иначе, как жертвуя каждый год или от времени до времени известную сумму на благотворительное употребление; но совесть которого искренно чувствительна ко| :64

всему, что обыкновенно считается дурным, и который не решится употребить незаконного средства для достижения своих себялюбивых целей. Между тем как в других странах будет часто случаться, что люди, которых чувства и вся деятельность идут строго в несвоекорыстном направлении, которые отличаются сильной любовью к своему отечеству, к человеческому усовершенствованию, к человеческой свободе и даже к добродетели, и которых мысли и труд в значительной мере посвящены бескорыстным целям, — что эти люди, стремясь к выполнению тех или

других сильно затрагивающих желаний, позволят себе однако делать дурные вещи, каких не решится сделать другой человек, хотя в сущности, по целому своему характеру, он будет гораздо дальше от того, чем бы должно быть человеческое существо. Безполезно рассуждать о том, какое из этих двух состояний ума лучше, или, говоря вернее, которое из них менее дурно. Для человека совершенно возможно воспитывать и совесть, и чувства вместе. Ничто не мешает нам воспитывать человека так, чтобы он не нарушал нравственного закона даже для бескорыстной цели, и также питать и поощрять в нем те высокие чувства, на которые мы надеемся главным образом как на чувства, возвышающие людей над низкими и грязными предметами, — и сообщать ему более высокое понятие о том, что составляет успех в жизни. Если мы хотим, чтобы люди были добродетельны, то надо постараться внушить им любовь к добродетели и научить их считать ее целью для нее самой, а не подать, платимой за позволение стремиться к другим целям. Людей надобно приучать к тому, чтобы они считали не только действительно дурное и действительную низость, но и отсутствие благородных целей и стремлений не просто достойными порицания, но унижительными: чтобы они имели сознание того, как ничтожно одно человеческое себялюбие перед лицом великой вселенной, собирательной массы им подобных существ, перед лицом прошедшей истории и неизвестного будущего — сознание бедности и незначительности человеческой жизни, если бы вся она терялась на то, чтобы приобрести удобства для нас самих и нашей родни или возвысить себя и их на одну или на две ступени общественной лестницы. С этим сознанием, мы научаемся уважать себя только тогда, когда чувствуем себя способными к более благородным целям, и если, по несчастию, те, кто окружает нас, не разделяют наших стремлений, быть может даже порицают наши действия, приводимые этими стремлениями, мы научаемся поддерживать себя идеальной симпатией великих характеров в истории или даже в поэзии и созерцанием идеализованного потомства, могу ли я прибавить: идеального совершенства, воплощенного в Божественном Существо? А великий источник этого возвышенного тона нашего духа именно и составляет поэзия и вся литература, насколько она представляет поэтические и артистические элементы. Мы можем извлекать возвышенные чувства из Платона, Демосфена или Тацита, но только потому, что эти великие люди были не только философы, ораторы или историки, но поэты и артисты. И поэтическое образование питает не только возвышенные и героические чувства. Она с одинаковой силой может и успокаивать душу, и возвышать ее — она питает и высокие, и мягкие ощущения. Она приносит нам все те картины жизни, которые овладевают нашей природой с ее бескорыстной стороны и заставляют нас отождествлять нашу радость и

печаль с добром или злом той системы, к которой принадлежим мы сами; она приносит и все те торжественные и душевные ощущения, которые, не имея никакого прямого отношения к нашей деятельности, внушают нам склонность смотреть на жизнь серьезно и располагают нас к принятию того, что является перед нами в форме обязанности. Кто не чувствует себя лучшим человеком после чтения Данта или Вордсворта, или, прибавлю я, после Лукреция или Георгик, или после элегий Грея, или «Гимна к Умственной Красоте» Шелли? Я говорил о поэзии, но и все другие роды искусства производят такое же действие в своей степени. Те племена и нации, у которых чувства тоньше и чувственные восприятия более деятельны, чем у нас, получают такого же рода впечатления от живописи и скульптуры, а люди с более деликатной организацией получают и у нас. Все искусства выражения стремятся оживлять и сохранять в действии те чувства, которые они выражают. Думаете ли вы, что великие итальянские живописцы стали бы занимать европейскую мысль так, как они занимают, и стали бы считаться всеми в ряду величайших людей своего времени, если бы их произведения служили только для того, чтобы украшать публичные залы или частные салоны? Их картины Рождества и Распятия, их Мадонны и Святые были для их впечатлительных южных соотечественников великой школой не только благочестия, но и всех высоких чувств и воображения. Мы, более холодные обитатели севера, можем приблизиться к пониманию этого действия искусства, когда слушаем ораторию Генделя или отдаемся ощущениям, возбуждаемым в нас готическим кафедралом. Даже независимо от всякого специфического выражения ощущений, одно созерцание красоты высшего порядка производит в немалой степени это возвышающее действие на характер. Сила картин природы обращается к той же области человеческой природы, которая соответствует искусству. Из людей, способных наслаждаться высшим разрядом естественной красоты, каковы, например, наши Highlands и другие горные страны, найдется мало таких, которые по крайней мере на время не возвысятся, под влиянием этой красоты, над человеческим ничтожеством и не почувствуют ребячества тех мелких вещей, которые разделяют человеческие интересы, в противоположность тем более благородным удовольствиям, которые могут делить одинаково все. Каковы бы ни были наши призвания в жизни, мы никогда не должны подавлять в себе этой восприимчивости, но должны заботливо искать случаев поддерживать ее в действии. Чем прозаичнее наши обыкновенные обязанности, тем необходимее для нас поднимать тон нашего ума и сердца частыми посещениями той высшей страны мысли и чувства, где всякий труд облагораживается теми целями, для которых он делается, и тем духом, в котором он делается; где, горячо хватаясь за каждый случай

упражнять высшие способности и исполнять высшие обязанности, мы научаемся считать всякое полезное и честное дело за общественную обязанность, которая может быть облагорожена способом ее выполнения, — которая собственно не имеет никакого другого особенного благородства, кроме этого, — и которая, как бы она ни была скромна, может быть низкой только тогда, когда низко делается и когда мотивы, по которым она делается, суть низкие мотивы. Есть, кроме того, естественное сродство между хорошими качествами характера и изучением Прекрасного, когда это бывает действительное изучение, а не простой, ничем не руководимый инстинкт. Тот, кто научился понимать красоту, если он добродетельного характера, будет желать осуществить ее в своей жизни — будет иметь перед собой тип совершенной красоты в человеческом характере, чтобы они освещали его попытки к самоулучшению. Есть верный смысл в словах Гёте, — хотя эти слова могут быть дурно поняты и извращены, — что Прекрасное выше Доброго, потому что оно включает в себе Доброе и еще нечто прибавляет к нему: это — Доброе, сделанное совершенным и одаренное всеми соотносительными совершенствами, которые делают его вещь полной и законченной. Это-то чувство совершенства, которое побуждает нас от каждого произведения человека требовать наибольшего, что оно должно было бы дать, и которое не допускает нас сносить ни малейшей ошибки в нас самих или в том, что мы делаем, — это чувство совершенства есть один из результатов изучения Искусства. Никакие другие человеческие произведения не подходят так близко к совершенству, как произведения чистого Искусства. Во всех других вещах мы удовлетворяемся, и можем разумно удовлетворяться, когда степень совершенства такова, какой по-видимому заслуживает непосредственная цель, но в Искусстве совершенство есть само себе цель. Если бы мне нужно было определить Искусство, я бы склонен был назвать его стремлением к совершенству в исполнении. Если мы встречаем даже вещь механического изделия, которая носит на себе признаки исполнения в этом духе, — если эта вещь сделана так, как будто работавший любил ее и старался сделать ее сколько возможно лучше, хотя и менее хорошая работа удовлетворяла бы цели, для которой эта вещь собственно делалась, — мы говорим, что этот человек работал как артист. Искусство, изучаемое действительно, а не выполняемое чисто эмпирически, требует, чтобы идеальная Красота, о которой оно впервые дало понятие, была для артиста вечным предметом стремлений, хотя и превосходящим все, что может быть действительно достигнуто, и при посредстве этой идеи оно приучает нас никогда не удовлетворяться вполне тем несовершенством, которое нас окружает и которое делаем мы сами: оно приучает нас сколько возможно идеа- :67

лизировать всякий труд, который мы исполняем, и всего больше, наши характеры и нашу жизнь.

И теперь, когда мы прошли с вами весь ряд материалов и воспитания, какие университет доставляет как приготовление к высшим трудам жизни, нет почти надобности прибавлять какие-нибудь увещания к вам о том, как пользоваться этим даром. Теперь перед вами возможность приобрести известную степень понимания вещей более обширных и гораздо более облагораживающих, чем мелочи какого-нибудь практического занятия или профессии, и возможность приобрести умение пользоваться силами своего ума на всем, что относится к высшим интересам человека, умение, которое вы возьмете с собой в деятельность практической жизни и которое не будет допускать, чтоб даже короткий промежуток времени, который может оставить вам эта практическая жизнь, совсем терялся для благородных целей. Когда вы раз победили первые трудности, единственные трудности, которых утомительность превышает их интерес; когда вы перешли раз эту границу, за которой то, что было трудом, становится удовольствием, то даже в самую занятую пору позднейшей жизни высшие силы вашего ума будут незаметно идти вперед через свободную деятельность вашей мысли и через приобретенное умение научиться из ежедневного опыта. Так будет по крайней мере в том случае, если в своих ранних занятиях вы обращали свои глаза к той последней цели, от которой эти занятия получают свою главную важность, к цели — сделаться более успешными бойцами в великой битве, которая никогда не перестает свирепствовать между Добром и Злом, и более способными встретиться с теми все новыми задачами, разрешения которых требует меняющийся ход человеческой природы и человеческого общества. Стремления, подобные этим, обыкновенно сохраняют то основание, которое они раз положили в уме, и их присутствие в наших мыслях поддерживает деятельность наших высших способностей и заставляет нас считать те знания и приобретения, какие мы собираем во всякое время нашей жизни, за умственный капитал, который мы можем свободно употребить на содействие какому-нибудь представляющемуся способу сделать человечество в каком-нибудь отношении более мудрым и лучшим или поставить какую-нибудь часть человеческих дел на более разумное основание, чем то, какое есть. Между нами нет ни одного человека, который бы не мог приобрести возможности настолько улучшить среднюю цифру случаев, чтобы оставить людей хоть немного лучше приготовленными к тому употреблению ума, какому научился он сам. Чтобы сделать это небольшое большим, будем стараться познакомиться с лучшими мыслями, какие были высказаны оригинальными умами нашего века; чтобы мы могли знать, какие движения больше нуждаются в нашем действии, и чтобы,

сколько зависит от нас, доброе семя не упало на камень и не погибло не достигши до земли, в которой оно могло бы вырасти и процвести. Вы будете частью общества, вам придется приветствовать, поощрять и поддерживать будущих умственных благотворителей человечества, и если возможно, вы должны будете доставить свой контингент в число этих благотворителей. И пусть никто не теряет мужества от того, что может, в минуту уныния, показаться недостатком времени и возможности. Те, кто умеет пользоваться возможностью, часто будут находить, что могут создать эту возможность, и то, что мы успеваем сделать, зависит не столько от количества времени, какое у нас есть, сколько от употребления, какое мы делаем из своего времени. Все вам подобные — надежда и помощь вашего отечества в будущем поколении. Все великие дела, какие предназначено совершить этому поколению, сделаны будут несколькими людьми, подобными вам; некоторые дела будут без сомнения совершены людьми, для которых общество сделало гораздо меньше, которым дано гораздо меньше приготовления, нежели тем, к кому я теперь обращаюсь. Я не хочу возбуждать вас перспективой прямых наград, земных или небесных; чем меньше мы думаем вперед о тех или других наградах, тем лучше для нас. Но есть одна награда, которая не минет вас и которую можно назвать бескорыстной, потому что это есть не следствие факта, а вещь, заключающаяся в самом факте, заслуживающем награды; это — более глубокий и более разнообразный интерес, какой вы будете чувствовать к жизни: интерес, который удесятерит ценность этой жизни, и ценность эта будет продолжаться до конца. Все чисто личные предметы стремлений теряют свою цену по мере того, как жизнь подвигается вперед; цена этих стремлений не только сохраняется, но возрастает. | :70

| :71